



Собрание сочинений

**Юзеф Игнаций
Крашевский**

Валигура

История Польши

Юзеф Игнаций Крашевский

Валигура

«Э.РА»

1879

УДК 821-3
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю.

Валигура / Ю. Крашевский — «Э.РА», 1879 — (История Польши)

ISBN 978-5-907291-31-7

Его действие разворачивается в Польше XIII века. На краковском троне – Лешек Белый, добрый, благочестивый, но слабый князь. Враги плетут заговоры против него, ведут борьбу за власть. Епископ Иво, друг князя, в страхе за его жизнь, сосредотачивает вокруг трона всех его друзей. Также вызывает в помощь из отдалённого, дикого замка своего брата Мшщюя, прозванного за свою силу Валигурой.

УДК 821-3
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-907291-31-7

© Крашевский Ю., 1879
© Э.РА, 1879

Содержание

Том I	6
I	6
II	15
III	24
IV	33
V	41
VI	48
VII	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Юзеф Игнаций Крашевский Валигура



Том I

I

Чащей извечной пуши, которая лежала на неопределённой границе краковской земли и Силезии, дорогой, вьющейся между гигантскими деревьями, за валами и болотами, дикой и иногда, казалось, исчезающей среди зарослей и стволов деревьев, поваленных ветрами, среди торжественной тишины осенним ясным вечером медленно продвигался длинный кортеж, который можно было принять за церковную процессию, если бы все принимающие в нём участие вместо того, чтобы идти пешком, не ехали на конях.

Почти посередине этой шеренги духовных лиц и рыцарей, придворных, оруженосцев и службы, разнообразно одетой и вооружённой, виден был мужчина весьма пожилого возраста, в котором легко было узнать прелата, занимающего в духовной иерархии высокое положение. Все окружали его с почтением, он ехал как бы уединённый, а вечерний свет на исходе прекрасного дня обливал его серьёзное лицо мягким ореолом.

Этот облик среди всех рядом с ним и за ним, которых было видно среди зарослей, был особенно прекрасным, облагороженным и сияющим великой святостью и великими мыслями.

Несмотря на возраст, морщинки почти не избороздили его спокойного лица, оно сохранило юношескую свежесть и силу... На красивом, сияющем, умном лице не было и следа земной заботы, глаза глядели с великим мужеством и добротой, на устах была мягкая улыбка, а сладость там так соединялась с силой и уверенностью, в ней гармонично сплочаясь, что этот муж пробуждал почтение и любовь одновременно.

Лёгкий плащ покрывал широкую и возрастом ещё не согнутую спину, а из-под него виднелось епископское облачение, крест на цепочке на груди и белый стихарь, который в дороге мог показаться странным, но был знаком старого ордена монахов св. Виктора.

Этот прелат ехал на послушном, тяжёлом и сильном коне, бросив поводья ему на шею; конь, видно, к этому привыкший, сам себе выбирал дорогу, шёл свободно и смело, с опущенной головой – а всадник вовсе о нём не заботился. Глаза его были уставлены в небо, уста двигались от молитвы, он казался оторванным от земли.

Все также ехали за ним медленно поступью, был это час вечерни и вечерней молитвы, которые, не теряя времени, совершали в дороге.

Следующий в некотором отдалении от епископа с открытой книгой в руке кантор задавал тон пению, другие голоса согласно ему отвечали. У духовных лиц головы были открыты или прикрыты только лёгкими шапочками, остальные снятые шишаки и колпаки везли в руках. На всех лицах рисовалось набожное расположение и волнение от молитвы.

Лошади, несомненно, привыкшие к пению, зная, что им подобало ступать медленно и тихо, шагали будто бы отдыхая, и едва какая-нибудь осмеливалась ухватить зелёный куст, когда ей, как искушение, он встретился под мордой. Хруст железных доспехов и мечей почти что прерывал хор голосов, в которых звучало набожное упоение и великая горячность духа.

Это был век таких страстных подъёмов к небесам, чудес и великих экстазов.

Кортеж, сопровождающий прелата в этом путешествии, был довольно многочислен и сам уже отмечал его достоинство. Не было в нём ни блестящей роскоши, ни того, что служило бы для показа людским глазам, но панский достаток и скромное богатство, рассчитанное на завтра, людям и коням двора придавали соответствующие черты. Двор, как пан, чувствовал себя в безопасности и уверенным в себе. Лица, казалось, подобраны так, чтобы составляли одну духовную семью. Ежели не братство крови, то сродство мысли и обычая их объединяло.

Что-то из этой святой невозмутимости едущего впереди епископа переливалось на его дружину. На самом деле, черты были разные – но как искупавшиеся в едином ручье благодати. Когда временами песнь прекращалась, шумевший тихо лес, казалось, повторяет её покорным эхом. Последние лучи близкого уже солнечного заката, пробираясь в густую и тёмную пушу, золотили верхушки деревьев, а иногда преломлялись и скользили по веткам и обнажённым стволам прямо к земле.

Порой такой золотистый лучик блеснул на плече мужа, одетого в доспехи, на чёрном облачении кого-нибудь из духовных, на шишаке, опёртом на шею коня, на висевшем у плеча маленьком щите, гвозди которого иногда поблёскивали и затем исчезали в полутенях.

Наконец он пропел последнюю песнь и закрыл книгу, которую держал перед собой, а из уст всего кортежа раздалось повторенное воодушевлённым голосом:

– Amen!

Епископ перекрестился и, точно после молитвы нуждался в отдыхе, ехал какое-то время молча.

За ним среди вооружённых придворных, челяди и оруженосцев слышались тихие шёпоты. Казалось, они совещаются, и одни всадники приостанавливались для разговора с друзьями, другие наклонялись друг к другу, потихоньку что-то говоря.

Вооружённые мужи надели на голову шишаки и колпаки, кони немного живей начали двигаться и подняли головы.

Пуща с обеих сторон по-прежнему поднималась густая и высокая – чудесная свободным ростом и силой, которая черпалась из девственной земли; но дорога порой казалась такой узкой, что кортеж должен был раздвинуться и удлиниться.

Затем по правую руку всадников гуща начала редеть, расступились деревья, и все увидели зелёную поляну, которую лица высматривающих чего-то издали приветствовали весёлым взглядом.

Почти в ту же минуту епископ остановил послушно идущего коня, который поднял голову и ноздрями втянул воздух; епископ не спеша повернул голову, ища кого-то за собой.

Угадывая его мысли, к нему подбежал вооружённый муж в полном расвете сил, с красивой осанкой, стараясь опередить вопрос. Его взгляд случайно упал между деревьями и он остановился, удивлённый. Только теперь он заметил среди поляны словно разновидность лагеря, который его так же удивил, как епископа. Все путники остановились и сжались в кучку. Епископ смотрел и указывал рукой на долину. Вооружённый мужчина поглядел тоже, но взгляд его напрасно изучал зрелище, которое ему представилось, не в состоянии дать себе отчёт в нём.

На зелёной поляне, на опушке леса, неподалёку от путников, был разбит белый шатёр с развевающейся над ним белой хоругвью, отмеченной чёрным крестом. За ней у желобов подкреплялись сильные и рослые кони. Виден был зажжённый костёр, возле него около двадцати мужчин в доспехах, огромного роста, рыцарское ремесло которых угадать было легко. У шатра на пнях сидели отдельно два начальника, на плечах которых были белые плащи с чёрными крестами.

Около шатра и костра сутились люди.

Епископ смотрел, точно желая что-то припомнить, и через мгновение улыбнулся. Вооружённый человек, который к нему прибежал, как раз хотел пуститься вперёд, дабы достать верную информацию, когда священник дал ему знак.

– Это братья госпиталя св. Марии, немецкого дома! Я видел их с этими плащами в Риме... но откуда тут у нас взялись!

– Могу ли съездить спросить? – отозвался вооружённый.

– Это не нужно, – сказал епископ мягко, – не могут это быть иные, только посланники ордена, за которыми посылал брат пана нашего, Конрад Мазовецкий... Они, наверное, сбились с пути, а я рад, что увижу их и поговорю с ними...

Товарищи епископа ещё с любопытством сковозь кусты разглядывали маленький лагерь, когда пастырь дал знак, и все тронулись с места к долине.

Топот коней и звон оружия только теперь, должно быть, привлекли внимание людей в лагере, которые, немного беспокойные, сосредоточились. Поднялись два белых плаща, поглядывая в сторону леса. А затем епископ, а с ним и вся его дружина появились из леса и, подъехав немного, когда весь кортеж вышел из него, остановились.

Едва несколько сотен шагов разделяли две эти группы; но день был ещё белый, обе группы хорошо могли друг к другу присмотреться.

И по одежде, и по кортежу те, что стояли лагерем, должно быть, догадались о церковном сановнике; первые задвигались и после короткого совещания два белых плаща стали медленно приближаться к стоящему на коне епископу, который решил их ждать.

Теперь он лучше мог на них поглядеть.

Два рыцаря, которые ещё не имели времени снять с себя доспехов, а шишаки несли в руках, были огромного роста, сильные и плечистые мужчины, словно созданные для своего ремесла, которое светилось из их глаз.

Не много по ним было видно монахов и монашеского духа и, если бы не эти плащи, а на них кресты, с трудом можно было бы угадать братьев, связанных благочестивыми клятвами. Старший из них, который шёл первым, быстрые чёрные глаза уставил на епископа, и хотя по кресту и облачению мог узнать в нём высокого костельного сановника, вовсе не принимая покорной осанки, рос в гордости, медленно подходя к нему.

Другой, следующий за ним, с более светлыми волосами, красным светящимся лицом, диким взглядом, шёл также, с гордостью поднимая голову.

Они приближались, присматриваясь, точно к равному себе; а так как те могли бы не знать, с кем имеют дело, чтобы уведомить их о том, вооружённый придворный епископа, быстро слезши с коня, которого схватил слуга, быстрым шагом пошёл к ним и, поздоровавшись с уже при виде его остановившимися братьями немецкого дома, сказал:

– Ксендз краковский пастырь, Иво...

Черноволоксы помотал головой, давая знак следующему за ним рыжему, и, не ответив на это объявление, зашагал снова к стоящему на коне епископу.

Дав им немного подойти, епископ сперва поздоровался с ними рукой, на что они отвечали лёгким кивком головы.

Иво проговорил по-латыни:

– Будьте здоровы, милые братья и гости, куда же путь держите?

– Мы едем в Плоцк, вызванные князем Конрадом, – промолвил немного неуверенной латынью чёрный. – Мы хотели узнать край и собираемся в дорогу...

Сказав это, он рукой коснулся доспехов и представился:

– Конрад фон Ландсберг *miles hospitalis S. Mariae Hierosol.*

Потом указал на сопровождающего его рыжебородого и добавил:

– Оттон фон Саледен!

Тот склонил немного голову, но тут же её поднял.

– Вы братья того ордена, который некогда прославился и своим мужеством против неверных, и милосердием над бедными пилигримами, – сказал епископ, – я узнал вас по знаку, какой отец наш, папа и епископ римский, дал для отличия от тамплиеров и братьев иоаннитов. Приветствую вас на этой земле, дети мои... и пусть Бог благословит ваше оружие. Мы слышали, что князь Конрад хотел отдать вам прекрасный Хелминский край вплоть до границы с Пруссией.

Конрад фон Ландсберг не спеша подошёл к епископу, Оттон, его товарищ, подошёл тоже.

– Да, – отозвался первый, – но хотя у нас на это есть подтверждение императора и святого отца, мы хотим сперва сами своими глазами осмотреть собственность, чтобы нас тут та же

судьба, что в Венгрии, не встретила. Её придётся выкупать кровью, поэтому нужно знать, за что её отдаём.

Епископ ничего не отвечал. Прошла минута.

– Я вижу, вы разбили на ночь лагерь, – сказал он, словно переводя разговор, – а я также не знаю, где отдохну, потому что, видимо, мы сбились с пути.

Говоря это, он обернулся к стоящему и ожидающему приказов солдату.

– Что вы на это скажете, Збышек?

Он усмехнулся.

Спрошенный, понижая голос, отвечал:

– Я полагаю, что дорога не была ошибочной, нам хорошо о ней рассказали, но в Белую Гору попасть нелегко... мало кто знает подход к ней... расстояние люди дают разное... Мы должны были остановиться на ночь у границы, а до сих пор её не видать... Ваше преподобие, прикажете послать кого-нибудь на разведку?

– Если бы ваше преподобие, – прервал Конрад фон Ландсберг, – хотели принять гостеприимство бедной братии...

Он указал в сторону лагеря...

Епископ колебался, но эта неуверенность продолжалась недолго, он слегка пришпорил коня и, пошептавшись о чём-то со Збышком, сам в сопровождении одного клирика поехал к шатру. Два брата немецкого дома шли впереди, указывая дорогу. Епископ, может быть, не столько нуждался в гостеприимстве, как хотел присмотреться к путникам, новым на этой земле, на которой ещё никогда их нога не стояла.

В то время множились благочестивые и рыцарские ордена – милиция Рима и церкви. В Святой земле раньше появились тамплиеры и иоанниты, после них Братья госпиталя св.

Марии, прибывали всё новые монашеские ордена, сам епископ Иво, видя в них поборников веры и самых деятельных помощников костёла, возводил монастыри цистерцианцам и премонстратам, приводил братьев Доминика, а вскоре должны были прийти бедные сыновья Франциска Ассизского убогий люд утешать.

По панским дворам, где не было распоясания и дикости, царила почти пылкая набожность, а женщины в ней превосходили мужчин.

Чудеса были повседневным хлебом, святые и чудотворцы прибавлялись, часто меняя оружие на капюшон и на грубую рясу, сотнями из земли вырастали монастыри, которые богато одаряли. Набожность становилась опьянением, казалось, что весь обращённый христианский мир шёл, не глядя на землю, уставив в небо глаза.

Песню во славу Богу оглашалась возрождающаяся Европа.

Несмотря на это, греховность была большая, безумные жестокости, страсти пробуждались и вспыхивали тем яростней, а после них наступало суровое, кровавое, безжалостное покаяние.

Ни один королевский плащ покрывал власяницей окровавленное тело, ни один вчера богатый властелин шёл назавтра пешим и босым пилигримом в Рим, а, вернувшись домой, убивал брата и снова надевал железный пояс, добровольным бичеванием искупая свои грехи.

Духовенство везде правило совместно с царствующими, так же как римский император совместно с папой владел миром, и так же оно соприкасалось со светской властью, как власть папы с императорами, которые, сломленные анамефами, шли вымаливать прощение, а назавтра рвались к новому бунту.

В этой борьбе за правление миром Рим также снаряжал рыцарство, и, боясь, как бы епископы не отказали ему в послушании, множил ордена, прямо зависящие от апостольской столицы, ордена, из которых одни шли с молитвой и крестом, другие – с благословенным мечом.

К последним принадлежали Братья госпиталя немецкого дома, сегодня событиями выброшенные со Святой земли. Ещё недавно немногочисленные и невлиятельные, в минуту,

когда мы их встречаем, они уже осели в Германии, хорошо оснащённые, а благодаря большим способностям и авторитету великого магистра ордена, Германа фон Салза, они были в милостях у императора, в папской опеке, в великой любви у немецкого рыцарства.

Не имея возможности идти в Иерусалим, они искали подходящее место в Европе, в котором бы обетом и призванием могли приносить пользу. Оно попало здесь, на пограничье с язычеством, а неосторожность князя Конрада Мазовецкого давала им землю для лагеря и всё то, что могли на ней завоевать.

Два спутника епископа Иво, рыцари Конрад и Оттон, как раз ехали осматривать край, в котором должны были господствовать и воевать.

Дали им кортеж из восемнадцати огромных парней, облачённых в доспехи, самых рослых и храбрых, каких можно было найти в Германии; они тянули за собой также челядь и несколько телег.

Хотя братья ордена, носящие на груди знак креста, два немца, которые вели епископа в свой шатёр, ни привычками, ни фигурой не были похожи на покорных монахов, ни, как они, не показывали излишнего почтения к епископу; скорее, казалось, считали его почти равным себе, чем начальником. Даже внушающее всем почтение лицо ксендза Иво и серьёзность его на них не производила впечатления.

По мере того как приближался к шатру, епископ мог убедиться, что только та одежда ордена и монахов и название покрывали людей совсем не монастырского духа.

Кнехты, собравшиеся за шатром, так дико смотрели на ксендза, словно были готовы броситься на него, а вместо богослужения за кустами слышна была весёлая мирская песня вперемешку со смехом. У самого входа в шатёр, кроме двух мальчиков, которые при Конраде и Оттоне выполняли службу пажей, епископ заметил двух юношей, одетых по-рыцарски, свободно разглядывающих окрестности, которые ни плащей и никаких орденских знаков на себе не имели.

Оба они, видно, дети богатых семей, были изысканно разодеты, а весёлые, улыбающиеся лица, кипящие жизнью, говорили, что в эту экспедицию они выбрались скорее для развлечения, нежели по долгу.

Так было в действительности, потому что, когда епископ подъехал ближе, брат Конрад дал знак, чтобы чуть подошли, и сказал, указывая на них:

– А это послушники, которым по доброй воле захотелось нас сопровождать в этой экспедиции на север, хотя сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них думал о монашеских обетах: мой племянник Герон, и Ханс фон Ламбах...

Юноши, которые глазами мерили прибывшего, склонили головы и затем немного поправили длинные волосы, которые упали им на лицо и лоб.

Слуги взяли коня, с которого медленно слез епископ. Подняли вход в шатёр и ввели его, чтобы отдохнул.

В лесном лагере, рыцарском и монашеском, не много можно было ожидать; шатёр немного удивлённому епископу, привыкшему к весьма скромной жизни, показался слишком обеспеченным всем, чего и во дворцах тогда было нелегко найти. Шкуры и ковры покрывали на скорую руку устроенные сидения, стояли при них серебряные жбаны и кубки, изящных доспехов было до избытка, и не было недостатка в лютнях. Ведь сам магистр Герман фон Салза слыл некогда певцом и поэтом; песни любили, поэтому и странствующие рыцари возили с собой лютни, чтобы по дороге развлекаться пением.

Зато ни одной книги с молитвами, никакого знака благочестия в шатре епископ не обнаружил. Немного грустью повеяло по его лицу, но какая-то мысль быстро его прояснила.

Старший из братьев, Конрад, начал хозяйничать в шатре и суетиться, дабы принять гостя. Но был это пятничный день, а епископ Иво даже в дороге соблюдал пост; поэтому он поблагодарил за предложенную еду, прося кубок воды и кусочек сухого хлеба.

– Вы сердитесь на нас, ваша милость, – сказал, слыша это и легкомысленно улыбаясь, Конрад, – нам нужны силы для боя, и, будучи в походе, мы освобождаем себя от постов.

– Это вещь вашей совести и устава, который я не очень знаю, – отпарировал епископ. – Раз не греховная похоть, а потребность призвания вынуждает к этому...

Он сделал знак рукой и не говорил больше.

Чуть подальше Конрад присел на пенёк и, вытирая лицо, продолжал дальше:

– Это огромные пустоши! Ведь они в десять раз больше могли бы прокормить людей, чем имеют! Леса и леса, которым нет конца. Едва кончились одни, как начинаются другие. Для воюющих эти пущи и болота – неудобная вещь. Неприятель спрячется в них как в крепости... а рыцарство легко пропадёт.

Любая западня в лесу... Война эта может быть тяжёлой, хотя бы и с дичью, и, по-видимому, первая вещь, чтобы тут удержаться, – нужно выкорчевать и вырезать лес.

– Да, – медленно проговорил епископ Иво, – мы также постепенно выкорчёвываем и вырезаем, но этот лес не напрасно нам дало Провидение. Это наша кладовая и сокровищница.

Тут мы имеем дикого зверя в достатке, тут нам бесчисленные пчёлы мёд для еды и воск для костёла собирают... из этого леса хата и телега, и соха, и всё...

– Для дикого, как этот, люда, точно, – отозвался Конрад, – лес – это сокровищница, но он не выйдет из своей дикости, пока эти леса не падут...

Епископ вздохнул и, показывая рукой вдаль, прибавил:

– Века с этим не справятся... Между тем для тех рук, что имеем, полей достаточно!

И он как бы благословил весь этот пустынный край перед собой. Все с напряжённым вниманием слушали говорившего епископа – товарищ Конрада и двое юношей, стоя в дверях шатра, несколько кнехтов, приближающихся к ним украдкой.

Иво говорил медленно, с тем покоем, какой даёт возраст, опыт и великая вера в Божье Провидение.

– Ежели вам те края, которые вы проезжали, над которыми уже два века светит крест Христов, показались пустынными, что же будет с теми, что хотите занять? Там ещё продолжается язычество, которое ни благочестивый епископ Христиан не смог искоренить, ни многие апостолы, замученные неверными.

– Потому что их не крестом, а мечом крестить нужно и обращать! – воскликнул Конрад высокомерно. – *Ego te baptiso in gladio!* – должно быть нашим девизом.

Иво покачал головой.

– Это ваше оружие – не церковное, – произнёс он, – но когда иные исчерпались, а дичь костёлам и нашим овечкам угрожает...

– Эти ваши овечки, – рассмеялся Конрад, – которых мы встречали по дороге, больше похожи на козлов, чем на спокойных овец.

Товарищи рыцаря приветствовали эту шуточку несдерживаемым взрывом смеха, а епископ только головой качал...

– Без немецкого железа, – говорил воодушевлённый успехом Конрад, – без немецких рук, немецкого разума и хитрости из этого края ничего никогда не будет. Поэтому местные князья очень хвалятся, что приведут сюда немецких людей и обычай.

Епископ Иво не противоречил, но на лице его снова показалось грустное облачко и исчезло, а рыцарь, становясь смелее, продолжал дальше:

– Наши немецкие императоры много раз эти края хотели занять оружием, потому что они им принадлежат, так же как и вся земля.

– Над завоёванными язычниками больше права имеет наш святой отец, папа римский, и тот распоряжается коронами и раздаёт их... – сказал епископ.

– Но что принадлежит Риму, то и подданным цезаря через это должно принадлежать, – прибавил Конрад, – это две неразделимые власти, – отпарировал рыцарь, и добавил быстро: –

Излишне было идти в эти дикие края с войсками, чтобы их там, как император Генрих, потерять от голода и предательства; излишне было воевать, когда мы их, не давая капли крови, захватим. Не обойдутся они без наших ремесленников, поселенцев, духовенства и солдатской помощи. Пусть только приходят наши холопы, пусть города строят – а земли эти захватим и сделаем немецкими.

Епископ молчал ещё, опустил голову на грудь.

– Что я сказал о крае, что он дикий и полуязыческий, – кончил Конрад, – я считаю правдой, но, как я слышал, в Магдебурге и на императорском дворе, с княжескими дворами, по-видимому, лучше, потому что там наши герцоги везде ввели обычай и язык немецкие. Силезские сеньоры – наши, нашим станет и князь Конрад, а дальше и другие...

По дороге мы много встречали саксонцев, более того, людей из более отдалённых земель, и Франконии и Тюрингии, которые сюда громадами тянутся, зная, что землю бесплатно получают.

– Ничего в этом плохого, – отозвался епископ, – что те идут к нам и приносят нам с собой науку ремёсел и чему бы мы рады научиться; с Божьей помощью, будучи на этой земле и окружённые нашими людьми, они станут позже нашими.

Все так же люди – братья, согласно закону Господа нашего Христа...

Крестоносец покачал головой.

– Мне видится, – сказал он, – что, как другие варварские края, которые мы заняли, так и эти должны стать немецкими... Само старое название этих людей клеймит их как рабов...

Среди этой беседы, в которую епископ, попивая воду и кушая хлеб, койки разламывал на мелкие куски, вмешивался мало, начинало темнеть, потому что и близлежащий лес отбрасывал преждевременный сумрак на лагерь. Ксендз Иво немного беспокойно огляделся, когда Збышек быстрым шагом приблизился к шатру.

Епископ, как если бы предчувствовал его прибытие, поднялся с сидения и наклонился ко входу.

– Что ты мне, Збышек, принёс? – спросил он мягко.

– Так, как я предчувствовал, – ответил Збышек с весёлым лицом, – граница Белой Горы недалеко уже, но – что толку?

Чужого никого на землю Мшщуя не пускают, такой тут обычай, а что до грода и до самого Мшщуя Валигуры, говорят, что совсем никому, даже самым близким и самым большим, доступа не дают.

– Я знаю, что мой брат Валигура совсем одичал, – сказал епископ по-прежнему мягко, – но всё же меня, как духовное лицо и своего брата, отпихнуть не захочет и не сможет.

Крестоносцы, слушающие этот разговор, удивлённые, начали шептаться, и Конрад охотно сказал:

– Ежели, ваша милость, хотите воспользоваться нашим подкреплением против сопротивления, скажите только слово, нам было бы приятно немного из заспанных ножен достать меч и показать, что умеют немецкие рыцари!

Епископ поднял вверх обе руки и быстро воскликнул:

– Пусть меня Бог уберёжет, чтобы я даже против своих использовал принуждение. Надеюсь, моего слова будет достаточно, чтобы мне отворились ворота... Мой брат – дикий, чужих не любит, от всех, как стеной, опоясался, живёт, сам избегая людей, – но к моему голосу не будет глухим.

– Это какой-то странный или злой человек, – вырвалось у Конрада, – если так закрывается...

– Не злой, – сказал епископ, – но много выстрадавший, так, что практически ведёт жизни отшельника, этого ему за зло посчитать нельзя. Дабы принести ему утешение, я направляюсь к нему...

– Стало быть, если до этого города недалеко, тогда и мы бы присоединились к кортежу вашей милости, – отозвался Конрад, – и хоть какое-нибудь чудо здешних краёв увидели.

– Я с радостью бы вас пригласил под крышу моего брата, – отпарировал Иво, – но если приеду к нему с чужими, это в самом деле затруднит доступ. Оставайтесь тут, а когда я добуду город и обниму брата, может, склоню его, чтобы и вам оказал гостеприимство.

Крестоносец склонил голову и ничего не отвечал. Епископ благословил их вокруг и, среди молчания выйдя из шатра, оседлал своего коня.

Его кортеж, который немного отдохнул на опушке леса, так же оседлал коней и направился за епископом.

Все крестоносные люди, собравшись в кучку, издалека смотрели на всадников. Конрад, Оттон, молодые Герон и Ганс тоже вышли из шатра и весело болтали.

– Жаль, – воскликнул красивый Герон, потихоньку руками поправляя волосы, которые спадали ему на плечи и немного делали его похожим на женщину, тем более, что на лице едва золотистый пушок начал высypать, – жаль, что этот грустный епископ так невежливо от нас избавился, мы бы в городе его брата польского пива напились и, может, увидели бы какую-нибудь неотвратительную женщину.

– А у тебя только они в голове! – рассмеялся Ганс, который уже мог покрутить усы, и тем правом, хоть немного был старше, Герона считал подростком.

– Ты не лучше, – рассмеялся Герон, – помнишь, как вчера в поле ты гонялся за женщиной...

– Только не напоминай мне этого разочарования, – крикнул пылко Ганс, – коней измучил, а баба, которая от страха на землю упала, когда я её преследовал, последний зуб, какой имела, выбила себе...

Все смеялись.

– Сказать по правде, – муркнул тихо Конрад, который слушал разговор, – тут ещё нет женщин, достойных этого названия, есть двуногие создания, из которых они, может быть, когда-нибудь вырастут! Счастьем, что мы с Оттоном принесли обет целомудрия.

Оттон рассмеялся.

– Грехи нам отпустят, когда его нарушим, – сказал он, – но в этом краю нет, по-видимому, опасности, а любовная песнь, которую Герон так поёт, что за сердце хватает, здесь никого в его сети не в пригонит...

Вечер был тёплый и прекрасный и, несмотря на пятничный пост, о котором им напомнил епископ, на ужин жарился окорок косули, убитой по дороге. Конрад велел поставить во дворе стол; четвером сели за него крестоносцы и добровольцы, все в хорошем настроении, которое прибавляло налитое из жбана в кубки вино.

– О епископе Иво, которого мы встретили, я много слышал, – сказал Конрад, – и не противоречит то, что я знал, тому, что видел сегодня. Это муж очень богобоязненный и набожный. Он в хороших отношениях с Римом, а, двух своих племянников отдав на воспитание отцу Доминго, уже из них сделал апостолов и ввёл в Кракове закон о морали... Он – правая рука краковского князя Лешека, который без него ничего не делает...

– Но нам нет до этого дела, – тихо прервал, приступая к принесённому мясу, Оттон, – нам нет до этого дела, потому что, по-видимому, что мило Лешеку, то нашему Конраду отвратительно.

К нему обратился Конрад:

– Не воюют всё-таки братья друг с другом, – сказал он неторопливо.

– Но Конрад ненавидит старшего, как разглашают, – добавил Оттон, – что не новость между братьями. Он младший, отправили его в пуши и грязь на кусок земли, на которой ему трудно удержаться, что удивительного, что предпочёл бы спокойно сидеть в Кракове?

– С того, что тут и там по дороге слышали, – сказал тем молчаливый Ганс, – сдаётся, что Лешек в руках ксендза, господин набожный и мягкий, хотя мужественный, войны не любит. Конрад, если его с седла не свалят, то, пусть бы упал, на него вскочит, и всем завладеет. Так люди предсказывают.

– Плохо предсказывают, – прервал Конрад, хмурясь, – как бы это на границах Силезии, более сильной и близкой, не было... что уже является Германией, и разум, и силу имеет нашу...

– А что же помогло тому длинноногому Владиславу, о котором нам в Магдебурге рассказывали, – отозвался Ганс, – который и обычаем и речью – немец? Он сидел в Кракове, и как дал себя посадить в него, так дал себя из него доброй волей выпросить.

– Э! – крикнул Конрад. – Потому что этот Владислав на немецком говорит, правда, но сердце имел польское. Добрый человек, а с добротой – к кудели – не на коня.

Все рассмеялись, подтверждая.

– Ну, с этим и силезцы не справятся, – добавил настойчиво Ганс. – Потому что князь Генрих ходил уже, по-видимому, раз на Краков и кончилось на том, что священники им велели обняться и согласие запить.

– Князь Генрих Вроцлавский – набожный господин, – насмешливо отозвался Конрад, – епископу ни в чём никогда не откажет... Тому только капюшона не хватает, чтобы монахом быть, а жена настоящая монашка.

– Стало быть, всё-таки, – сказал Отгон, – нашему князю Конраду самая лучшая звезда светит, потому что он, я слышал, сердце имеет каменное и руки железные. Человеческая жизнь для него и мухи не стоит. С духовными лицами также, когда его слушают, – добрый, когда плохо себя ведут, – не смотрит, лысина ли на голове, и...

– Оставь в покое нашего, – отозвался Конрад, – всё-таки мы его ленники и охранять его должны.

– Как, ленники? – возразил Отгон. – Нам не ленным правом земли дают, но наследственным. Наш магистр Герман есть герцогом Империи и мы никому ни лена, ни поклона не должны, за исключением императора.

Конрад молчал мгновение, покачивая головой.

Кубки налили заново, высушили...

II

Уже прилично смеркалось, когда на одном из трактов, который вёл через лес, вдалеке показалось нечто похожее на высокое огорождение и ворота.

– Вот и граница Белой Горы! – воскликнул Збышек.

В эти времена, когда у большей части владений рубежи были сомнительны, а межей, курганов и границ так тщательно не отслеживали, потому что пустой земли было достаточно, такое точное обнесение стеной казалось чем-то особенным. Епископ стоял и долго, молча, смотрел, другие также приподнимались на конях, шепча и усмехаясь. Пожимали плечами.

Весь лагерь, который задержался на короткое время, тянулся к оgrade, уже всё более видимой...

Дорога пересекала глубокий овраг, вал, а на нём стояло огорождение и виднелись раньше довольно сильные, а теперь немного заброшенные закрытые ворота. Не доходя до вала, находилось припёртое к нему бедное, широко расставленное строение, крыша которого, кое-как забитая повывезшими досками, вся курилась дымом от горящего внутри очага. Сквозь маленькие отверстия в его стенах в вечернем сумраке блестел красноватый свет.

Значит, там были люди.

Недолго нужно было ждать их появления, потому что, как только услышали в хате шаги приближающихся лошадей, сначала одно окно потемнело, потому что кто-то, выглядывая, закрыл его головой, потом скрипнула дверь, и какой-то человек вышел навстречу подъехавшим. Остановился как вкопанный у порога, казалось, не верит глазам, когда увидел столько коней и людей.

Збышек хотел к нему подъехать, когда епископ, дав ему знак рукой, чтобы остался, сам приблизился к стражнику и поздоровался с ним христианским обычаем.

Стражник был человек старый, ещё сильный, с седой постриженной бородой и открытой уже полысевшей головой. Одет он был в короткий козюшек с волосом наружу, полотняные штаны и башмаки.

В руке, для знака ли своей должности, или для обороны, он держал огромный штырь, на конце которого был прикреплён кусок железа. Он что-то невыразительно пробормотал в ответ на приветствие епископа.

– Отворяй мне ворота, – сказал Иво, указывая на них рукой. – Я брат Мшцуя и еду его навестить и благословить.

Стражник, казалось, не понимает, поднял голову, чутко прислушиваясь, вытаращил глаза, его беззубый рот широко открылся, не отвечал...

Терпеливо, не спеша епископ повторил ему приказ, указывая на ворота, но человек не двигался, не отвечал... Иво обернулся к Збышку, а тот уже спешил и подошёл к стражнику.

Он повторил ему, настаивая, волю епископа, и добавил, что всадник был наивысшим пастырем и принадлежал к родне пана с Белой Горы. Всё это ещё не убедило молчащего стражника.

Из него нельзя было добиться ни слова...

Люди епископа уже собирались идти к воротам и силой их отворять, что бы без труда получилось, когда молчаливый стражник перегородил им дорогу собой и штырём. Иво дал знак не применять силы.

Испуганный человек начинал бормотать. Что-то говорил, но из-за отсутствия зубов и голоса, который сдавил страх, понять его было трудно. Размахивал только энергично штырём, пытаясь перегородить дорогу всадникам.

Испугавшись нападения людей, которые спешили и стали приближаться к нему и воротам, как бы от отчаяния, он начал дрожащими руками что-то искать под кожухом, и, достав рог, так отчаянно затрубил, что кони зафыркали, а несколько из них бросилось в сторону.

Только конь епископа, выставив вверх уши, ни дрогнул... за что его Иво поласкал по шее.

Крикливый голос рога среди тишины по ночной росе разошёлся широко, словно его несли воздушные потоки.

Прошла минута неопределённости – глядели друг на друга и на епископа, который дал знак, чтобы ждали.

Довольно долго все стояли неподвижно на месте, пока Збышек первый не услышал вдалеке топот коня. Кто-то мчался от взгорья, за которым ничего было не видно. Топот копыт становился всё выразительнее, и за воротами мелькнул человек на коне, который, не спешиваясь, стал заглядывать через щели.

Збышек подошёл к нему. Прежде чем прибывший имел время спросить, услышал, кто ждал, и приказ, чтобы отворили ворота.

– Никому эти ворота не отворяются, хоть бы и сам пан, князь, и король был, потому что здесь единственный пан – наш пан. Мы ни к кому ничего не имеем, и хотим, чтобы и к нам не имели.

– Всё-таки брат и епископ... – воскликнул гневно Збышек, – слышишь, мы тут не потерпим, чтобы Божьему слуге препятствия кто-то ставил, выломаем ворота!

– Что это? – крикнул человек за воротами. – Выламывайте ворота, подъедете к городу, а всё-таки его не получите, потому что мы в нужде умеем защищаться, вместо тех ворот, пойдёте к этим...

Затем епископ сам возвысил голос.

– Слушай, дитя моё, – сказал он мягко, – езжай на Белую гору и скажи Мшщую, что брат Иво у ворот стоит. Иво из Кракова...

Какую-то повелительную силу имели эти слова, потому что человек, услышав их, замолчал, не отвечая ничего, повернул коня и помчался...

Стражник со штырём, отодвинувшись немного в сторону, но от ворот не отходя, опёрся на своё оружие обеими руками и стоял неподвижно.

На дворе постепенно темнело, а епископ, терпеливо опустив голову, молясь, потихоньку ждал ответа, задержка которого явно раздражала Збышка. Лёгкий ветерок сорвался с запада, и хотя небо местами было чистое, он гнал порванные тучи, которые казались посланцами, отправленными на разведку, обещающими перемену погоды. Воздух становился более холодным, как обычно осенью, когда зайдёт солнце.

После довольно продолжительного ожидания снова послышался топот коня, стражник обратил глаза и голову к воротам, выпрямляясь и готовясь как бы к обороне позиции, потому что был уверен, что из гродка придёт отрицательный ответ. За воротами показался всадник и Збышек как можно скорей подбежал к нему.

– Милостивый наш пан, – сказал прибывший, немного запыхавшись, – хоть никого чужого у себя не хочет видеть, но брата готов принять. Только не с кортежем и не с двором, но одного.

Среди придворных епископа возник достаточно громкий ропот, только Збышек глядел на пана, ожидая, что тот скажет...

– Разбейте тут себе шатры и зажгите огонь, – сказал пастырь, – а я поеду на ночлег на Белую Гору, раз иначе быть не может. Жаль мне вас, дети мои, но иначе не достиг бы цели путешествия.

Затем канцлер-епископ, ксендз Сильван, не в состоянии сдержаться, сильно воскликнул:

– Но отпускать вашу милость так одного не подобает и небезопасно! Как это может быть, чтобы хотя бы одному из нас сопровождать вас нельзя было!

Услышав это, посланец у ворот начал повторять:

– Одного только ксендза-брата пустить мне вольно, одного!

Ксендз Иво улыбнулся и рукой начал прощаться со своим духовным двором и кортежем.

– Збышек, – сказал он своему ожидающему охмистру, который стоял с беспокойно опущенной головой, – я прошу тебя, пусть на вынужденном лагере всем будет хорошо... Сделай, что можно...

Он поднял руку и благословил.

Лошади епископа не очень хотелось отходить от группы, но ксендз Иво мягко обратился к ней и послушный конь двинулся к воротам, которые сторож, поставив штырь к огорождению, с трудом начал отворять!

Стоявшие у ворот люди следили, чтобы никто больше втиснуться не мог за ним.

Только когда епископ немного отдалился и ворота снова заложили засовом, среди двора громче закричали возмущённые ксендзы и Збышек на чудака-пана с Белой Горы, который посчитал их недостойными переступить порог своего гродка.

Только старый капеллан, епископ Амброзий, привыкший к тихому подчинению событиям, ненавидящий пустые сетования, после первой вспышки сразу закрыл им уста тем, что, не зная человека, судить не годится.

– А разве мы знаем, – говорил он, – почему этот человек стал диким, и почему с людьми не общается! Что говорить, если делает это из набожности и потребности духа? Не судите, да не судимы будете...

И так постепенно бормотание начало утихать.

Епископ, между тем, ехал, не спрашивая о дороге, дав волю коню, задумчивый и будучи уверенным, что попадёт в гродек.

За ним в некотором отдалении тащился с открытой головой замковый слуга. Довольно заросшая тропинка шла немного в гору, которую с запада освещал остаток вечерних отблесков.

Однако долго на той высоте ничего видно не было, кроме земляного вала и забора, который в течение долгих лет принял землистый цвет и покрылся зеленью, что его прикрывала. Только подъехав, на валу на его глазах стала подниматься замковая башенка, но деревянная, построенная из больших старых балок, похожая на большую кучу брёвен, покрытую крышей. Больше ничего из-за валов не выглядывало, хоть к ним приблизились. Проводник епископа опередил его, едучи в стороне, и крикнул, чтобы им отворили первые ворота. Проехав эти ворота, взбирались они ещё в гору к другому валу и другим воротам, которые были не напротив первых, но чернели в стороне от них среди окопа.

Построены они были очень старым способом, из непомерно толстых стволов, обмазанных и облепленных глиной. Какой-то человек отворил епископу дверку и, проехав через неё, он нашёл мост через глубокий ров, за которым как бы в котловане на верху горы лежало горюдишко.

Серый сумрак не давал хорошо различать разбросанных строений, разной высоты и форм, сосредоточившихся у подножия деревянной башни, серый цвет которых не много отличал их от земли, на которой находились. Тихо тут было и казалось пусто, хотя кое-где в отверстиях стен изнутри блестело. Когда епископ проехал мост, увидел стоящего перед собой мужчину необычайного роста, настоящего гиганта, и хотя лица его не мог разобрать, по этому росту, из-за которого Мшщуя у обычного народа прозвали Валигура, узнав брата, обе руки вытянул к нему. Конь остановился.

Этот гигант схватил руку Иво и, не говоря ни слова, но плача, начал её целовать.

Только через мгновение, когда Иво спешил и встал, опираясь на руку брата, послышалось:

– Мой Иво... Иво!

– Мшщуй! Бог с тобой!

Оба были так взволнованы, что не могли говорить; в молчании, прерываемом рыданием и вздохами, они пошли к дому.

В сером сумраке видны были под стенами тихо, тревожно проскальзывающие силуэты слуг, вскоре исчезающие...

Послышались лай и рычание собак и затем исчезли...

Хозяин вёл прелата к зданию, обременённому подсенями на столбах. Челядь, которая тут стояла, расступилась при виде пана и ушла в сторону.

Открытая большая и тяжёлая дверь вела в сени, такие обширные, точно были нужны для размещения сотни людей.

С её бока горел костёр. Не задерживаясь там, привёл Мшщуй ксендза Иво в комнатку слева... и в ней ясно горел костёр, освещающий деревянные почерневшие стены.

Стародавним обычаем комната была убрана вокруг тяжёлыми лавками, над ними висели полки. Маленькие отверстия в стене, прикрытые ставнями, днём со двора, должно быть, впускали мало света. Хотя над очагом висел дымник, огромный как капюшон, прокопчённый сажей смолистых досок, немного синего дыма распространялось по избе и как бы полосы лежали под потолком. Стол, вбитый ножками в землю, занимал один угол комнаты, а на нём видны были по старой традиции расстеленное полотенце, хлеб, нож, кувшин и деревянные кубки. Всё это было до избытка бедное и простое.

Когда Валигура в свете горящего огня под дымником показалась брату, который его раньше в сумраке хорошо видеть не мог, – лицо ксендза Иво задрожало как бы чувством радости. Он ожидал найти его сломленным и постаревшим, а был перед ним муж, полный сил, точно готовый к бою.

Действительно, буйные и тёмные волосы на голове и на бороде уже местами, полосами, начинали серебриться, лицо было распахано глубокими бровдами, но чёрные огненные глаза смотрели жизнью, блестели огнём, плечи не согнулись под бременем лет, широкая сводчатая грудь дышала свободно. Только в выражении этого лица и глаз было что-то грустное и гневное одновременно, быть может, некий волнением зажжённый огонь редких дней – потому что с ним жить долго нельзя. Этот гигант дрожал, глядя на епископа, который, всматриваясь в него взаимно с мягкостью и спокойствием, не покидающим его никогда, казалось, жалеет.

– Мир тебе и дому! Бог с вами! – сказал он сладким, успокаивающим голосом.

Огляделся...

– У тебя по-старому, бедненько и просто! – прибавил он.

– Потому что я старый человек, – отпарировал Мшщуй, – старый человек и простой... нового я ничего не хочу, и мудрого и искусственного, и упаси Боже чужого.

Хозяин сказал это почти пылко и, не желая дольше разговаривать, поспешил добросить:

– Что вам дать на ужин?

– Пятница, пост, – сказал епископ, – а недавно я подкрепился ломтиком хлеба и водой. Свежую воду всегда с радостью пью, попробую также пирог или хлеб, не откажусь, больше мне ничего нельзя.

Валигура потёр волосы... поглядел на непокрытые лавки и, отвернувшись в угол, достал толстый кусок сукна, которым застелил сидение, указывая епископу:

– Хотя я не хочу есть, но не обижусь, – сказал Иво, – если вы велите подать себе непостный ужин; буду иметь в том большую заслугу, когда подвергнете меня искушению, с которым справлюсь.

– Я уже ел и сыт, – сказал Валигура.

– Садись при мне, дай на тебя посмотрю, говори, дай послушаю, объяснись, дай я тебя пойму. Сосчитай-ка лета, сколько их уплыло с того времени, когда тебя укусил этот слепень, – потому что я этого иначе назвать не могу – и ты без всякого повода порвал со светом и с роднёй.

Валигура улыбнулся, но так горько глядя на брата, и такие тяжёлые вздохи вырвались из его груди, что епископ положил руку ему на плечо, видя, что страдает.

– Хорошо, – сказал он, – брат, слепень меня укусил, слепень, и рана от этого укуса до сего дня болит. Только, хоть ты духовный и брат, не спрашивай, как его звали и когда мне рану нанёс, – не время говорить... не время! Порвал я со светом и с роднёй... Да! Потому что там мне нечего было делать.

– Брат! Брат! – прервал епископ. – Я как раз сюда прибыл тебя обращать. Не спрашиваю, что болит, хотя, может, с помощью и милостью Божьей залечил бы рану или уменьшил боль – насильно больному такой лекарь, как я, навязываться не может... больной сам должен прийти к нему, дабы лекарства были эффективны. Только мне жаль тебя, брат мой, и грустно мне за тебя, а та родня, от которой ты отказался, оставил её, нуждается в тебе...

Валигура, слушая это, напряг свою огромную жилистую, сильную правую руку со сжатым кулаком и проговорил:

– Руку вам нужно... ха! Уж она не та, что дубки с корнем вырывала из земли, не та!

– И кулак бы пригодился, может, – ответил епископ, – больше сердце.

– И оно умерло! – вздохнул Валигура. – Что вам уже от него и от меня?..

– Слушай, милый мой, – отозвался епископ. – Христовы слуги, каким я есть, никому насилия не наносят; их оружие – слово и любовь, иного не имеют. Стало быть, слушай мои слова, которые иногда Дух Святой и бедным может вдохновить... Хорошо в этой пустыне, спокойно? Не видишь злобы людской, нет необходимости бороться с ней. Тебе хорошо, но скажи мне по совести: был ли ты создан на то и крещён ребёнком Христова сообщества, чтобы себе только служил, или чтобы разделил судьбы братьев и твоего народа? Скажи мне.

Что значит тот святой крест, ежели не призыв на вечное служение, которое побег сделает позорным?

Наш король Болеслав трусам, что сбежали с его войны, посылал кудели и заячьи шкурки. Что же Христос пошлёт тебе, что вышел из его рядов?

– Всё же я от Господа Христа не отказывался! – живо ответил Мшщуй. – Всё-таки молюсь и ксендза держу, исповеди совершаю, постов не нарушаю...

– Думаешь, что этого достаточно! – сказал епископ мягко. – Ты отказываешься от гетмана и хоругви, что говорить, когда тебя в бою нет, а пошёл в безопасности под куст и ищешь под ним приюта?..

Валигура содрогнулся.

– Я с тобой на словах сражаться не сумею, – проговорил он, – побьёшь меня ими, но, брат, послушай и ты меня, послушай из сострадания – не осуждай!

– Сядь при мне, – шепнул епископ, – буду тебя слушать, охотно, потом бы и ты послушал меня. Говори! Садись!

– Не приказывай мне садиться, – отозвался Валигура, – кровь мне не даёт на месте остаться, должен двигаться.

Он сильно вздохнул и, видя, что огонь в печи гаснет, пошёл подбросить в него несколько головешек. Епископ сидел молча, он тёр лицо и разбрасывал волосы, глаза его горели.

– Говоришь, что я военный дезертир, – сказал он. – А!

Если бы, отдавая жизнь, можно было добыть победу, я бы не колебался. Не о моей жизни речь, только о том, чтобы не запятнать себя и не запачкать душу... чтобы, глядя на то, что делается, не сказал, в конце концов, безумец, что так и должно делаться.

– А что же такого плохого делается, или стало? – прервал епископ, складывая руки. – Благодарение Всевышнему Богу, благословение над краем, вера умножается, костёлы строятся, народ от язычества отмывается... свет приходит!

– Смотря только в небо, – воскликнул Мшщуй, – верно, многого не видно, а на земле? Что?

Он на минуту замолчал.

– Наша земля развалилась на куски, за куски бьются братья, мало того – кто нами правит? Ты говоришь – христианские паны – точно, только не нашей уже крови, языка, обычая...

Епископ вздрогнул.

– Что ты говоришь? – спросил он.

– Ведь я смотрел на двор и на особу Тонконового, на силезских князей, на других, на их дворы, на их челядь, на их забавы и совещания... Всё это немцы, а число немцев у нас растёт, растёт, и мы – в доме их слуги... Ваши монастыри – немецкие, ваши костёлы, что имеете, из Германии взяли, брони нет лучше, чем из-за границы, мечи хорошие только от них. Сукно вам ткнут немцы, драгоценности куют, хорошо, что хлеба не пекут. Я должен был посмотреть на это со сложенными руками и благодарить, что мне сердце выедали!

Епископ мягко посмотрел на него.

– Это у тебя желчь возмутилась? – спросил он. – Стало быть, утешься, брат, потому что ты плохо видел и заранее отчаился. И я на это смотрю, но весёлыми глазами, не страшась... Чем же вредит, что они нам служат? Живущий с нами немец переродится... а что принёс с собой, останется. Ты, должно быть, знаешь, что Бог дал мне сделать святых людей из двух наших племянников, из Яцка и Цеслава? Те все-таки в Риме немцами не стали – монастыри также не все немецкие... да и те, что есть, чтобы жить, должны стать нашими.

– А князья? Князья? – прервал Мшщуй. – Разве не знаешь того, что с их двора течёт, как из источника, и что, когда они чёрные, все от них должны испачкаться? Покажи ты мне двор и пана, что бы к немцам не льнул, что бы обходился без них. Соседнюю Силезию немцы уже наводнили, поселившись в ней, города строят, свой закон привозят, чтобы нашего не слушаться, заслоняются крестом, дабы им ничего не было...

– Милый брат, – вздохнул епископ, – ты печалишься и в Божью опеку не веришь... Бог и такие инструменты использует для обращения. Я спокоен, нас тут больше; чем мне вредят пришельцы, когда наша жизнь их захватит и должна переделать?

– Немца! Чтобы наши силы немца из кожи его выволокли и новую ему дали? – воскликнул Мшщуй. – Я, на самом деле, видел много наших, что онемечились, и ни одного немца, что бы стал нашим. Если бы и говорить научился, и одежду надел, и дал приласкать себя, в нём всегда что-то сидит, что смердит.

– А все христиане являются братьями, – произнёс епископ, – о том ты забыл.

– Нет, я только хочу, чтобы каждый брат у себя сидел и к забору моему не прижимался, – сказал Мшщуй. – Им хочется нашей земли! Не могли завоевать оружием, хотят на ней осесть без проливания крови... переодеваясь в челядь и служа нам. Беда тому жупану, что в грод пускает торгашей, не зная... Ночью его ворота откроют неприятелю. Я их ни панами, ни слугами не хочу иметь, а братьями за дверью...

Видя, что епископ молчит, опустив голову, он продолжал далее:

– Не могли с нами жить иначе, мудрый народ за искусство взялся. Королям и князьям начали жён рекомендовать, чуть ли не из монастырей.

Епископ шикнул.

– Так было, – добавил Мшщуй. – Болеслав женился на монашке, не отлучили его.

– Это было плохо, – сказал епископ.

– Никто не пискнул, – говорил Валигура, – за такой женщиной должны были идти служки и челядь, и капеллан, и ремесленники, и вооружённые... На дворе все из-за любви к ней начали тараторить и болтать по-немецки... Родился князь, первое слово, что сказал он матери, а она ему – было не нашим... ради сына должен был учиться отец, а потом это так пришлось ему по вкусу, что с первейшими и со своими придворными предпочитал говорить этой речью, которую дьявол выдумал.

– Брат! – воскликнул епископ.

– Прости, во мне уж желчь кипит, – прибавил Мшщуй. – Так было. Что наше не было нам по вкусу... не хватало, хоть веками мы так жили. От ремешка до пряжки должно было всё идти из-за гор, из-за морей, иначе не нравилось...

Так наши питомцы переменялись в Тонконогих... что если бы человек их встретил на тракте, принял бы за чужого.

– А святой, честный и любящий мир человек... – сказал епископ.

– Я бы предпочёл, чтобы он любил войну и немцем не был, – пробормотал Мшщуй. – Тонконового упрекать ни в чём нельзя, кроме того, что, хоть, вроде бы кровью наш, а душу немцам продал. Всё-таки добрый был пан, потому что, когда его в Краков вызвали, не хотел Кракова брать, пока бы ему Лешек не позволил, потом, когда после Завихоста Лешек полюбил наши краковяне, которым всегда нового сита на круге нужно, Тонконогий не сопротивлялся и пошёл прочь.

Может ли быть человек лучше? А плохо возмущался, потому что при нём всё онемечивалось...

– Чем же провинились немцы? – спросил мягко епископ. – Скажи!

Мшщуй покраснел.

– Мне они не сделали ничего, – воскликнул он, – я человек маленький, и от меня, хоть бы умер, не много бы земля наша потеряла, но наше государство пропадает от этой немчизны. Посмотри на соседнюю Силезию, как её наводняют... Ещё немного и не поговоришь своим языком на своей земле...

И, прервав, Мшщуй добавил:

– Плохо у нас! Плохо! При Мешке и сыне, и при Кривоустом ещё земли и поветы объединялись в группы, господство распространялось широко, мощь росла... а сегодня что? Что мне из того, что дуб, порубленный на доски, гладко выглядит, мощи уже той нет, как если бы толстым был и в себе одном.

Так и это панство наших Больков сегодня на доски и щепки распилито потомство... Немцам в этом игра, потому что обрезанные кусочки приятней глотать.

Епископ насупился и молчал, глядя в пол.

– Слушай, Мшщуй, – сказал он, – тебе хочется могущества, а не знаешь, вырастит ли оно и дотянется ли до твоей головы. Большие паны и императоры, когда в силу вырастут, не уважают ничего, ни прав костёла, ни прав человека. После Кривоустого королевство должно было распасться, чтобы у религии, у духовных особ и у вас, свободных людей, на шеях не тяготела тирония! Всё-таки все эти кусочки имеют одну главу в нашем архиепископе гнезненском и духовенстве – все подчиняются Риму и метрополии своей столицы. Духовенство вас защищает от своеволия и тирании! Оно бдит, король ваш, наш пан – Иисус Христос. У нас есть, как несокрушимое оружие, проклятье, которое исключает из общества, и мы показали, что и на стоящих выше её использовать не поколеблемся...

– Да, но попробуйте бросить вашу анафему на половцев и русинов – чем она поможет? – спросил Мшщуй.

– По нашему призыву все князья объединятся, пойдут на язычников, – сказал епископ, – и победят...

– Пойдут, да, – пробормотал упрямый гигант, – но вместо язычников, они друг с другом поссорятся, чтобы один у другого кусок земли захватил и вырвал! Для вас, духовных, наверное, лучше со множеством маленьких панов, чем с одним сильным; но спросите ту землю, ту землю, которую они, вырывают друг у друга и, на которую нападая, обагрят кровью?

Эта земля вам ответит, как я некогда слышал, что читали в Писании, – беда королевству, в себе разделённому, беда!

– Ты смотришь на эти дела по-мирски, – отозвался епископ, немного помолчав. – Нашей земле наперёд были нужны святая вера и свет. Мы не спрашивали и не спрашиваем, кто нам

её приносил, потому что без них жизни не было. Крест нас освободил от гибели, от завоевания императором. Первые бенедиктинцы, первые монахи и священники, немецкие, чешские, французские, итальянские всё-таки нас не сделали ничем иным, только христианами...

– Подождите-ка, – воскликнул Мшщуй, – когда наплывут немцы; только тогда увидите, чем мы будем...

– А если бы и так было, как говоришь, – прервал епископ, – что же за повод убегать и скрываться, когда именно, как сам говоришь, немцев отражать нужно?

– Не время уже, слишком поздно! – крикнул Мшщуй. – Силезия пропала! Не знаю, что делается на свете, но не дай Боже, чтобы и Мазовия, и другие земли были оторваны... Князей, что бы немцами не воняли, нет... все...

– Не говори мне ничего на пана моего, Лешека, потому что он добрый и самый лучший, самого благородного сердца, как отец был, набожный, благочестивый, справедливый... – живо отозвался епископ. – Дай нам Боже таких больше...

Глаза Мшщуя блеснули, а уста сжались – он вдруг замолчал. Епископ, глядя на огонь, думал, будто потихоньку молясь.

– Не напрасно я сюда к тебе сам прибыл; чтобы вытянуть тебя из этой ямы, в которой, как медведь, ты лапу лижешь, – сказал он, вставая. – Пан у нас добрый, милостивый, благородный... но... но угрожают ему неприятели, всякие силы, какие есть, должны около него сосредоточиться; прежде всего, мы, Одроважи, всей громадой, от которой ты отделиться не можешь. Весь род тебя зовёт. Кто не имеет уже отца, как мы, тому род – отец и мать; кто не отвечает на его голос, тот от своих отрекается и остаётся один. Мшщуй, я прибыл сюда за тобой...

Валигура стоял немой, удивлённый, но молчание его, казалось, не объявляет о послушании. Чувствовал это епископ и заговорил ещё живей:

– Да, брат, нашему пану угрожают тайные и явные враги... Вы...

– Я ни о чём не знаю, потому что со времени Тонкононого на свет не выглянул, – прибавил Валигура.

– Вы должны и обязаны идти с нами, – говорил епископ. – Внешне всё подчиняется нашему пану, но в действительности ему завидуют из-за Кракова, из-за силы и добродетели, и любви, какую имеет, и считают его слабым... Родной брат Конрад, хоть явно ему послушный, высматривает только, не представится ли ему возможность захватить и этот участок, а он резкий, неуправляемый, жадный и суровый... У князей силезских не развеялась ещё мечта, что они на Краков имеют больше прав, чем Лешек, имеет приятелей Тонконогий, имеет Плвач, а хуже всего, что Яксы по-старому ненавидят нас, стряпают заговоры против того, при котором мы стоим.

– Значит, согласия с ними нет? – спросил Мшщуй.

Епископ вздохнул.

– Видит Бог, что не мы, Одроважи, этому пречиной, – сказал он, – я, как слуга Христов, со всеми желаю согласия.

Однако же мы с Яксами пробовали не раз заключить мир и мы дали им ребёнка из нашего дома в их ложе, а взяли дочку от них для нашего ребёнка – ничуть это не помогло.

Враждебные друг другу, как были.

Завидуют нам в панской милости, мне – в столице епископской, в опеке, какую я имею в Риме, завидуют мне в двух благочестивых племянниках, Яцке и Цеславе, злыми глазами глядят на монастыри, которые строю, и костёлы, которые возвожу. Тайно составляют заговоры с Конрадом, с Плвачем, а голова их, Святополк, которого посадили в Поморье, сначала отца губернатором, потом сына князем, – тот уже пана, что ему дал ту землю, знать не хочет и думает оторвать... Яксы им сильны...

– Но у вас, брат, есть Лешек! – сказал Мшщуй. – А тот сильнее Святополка Поморского.

– Пока к одному предателю не присоединятся другие, – отпарировал епископ. – Упаси Боже от падения нашего пана, падём и мы всем родом, и пойдёт эта земля снова на жертву онемеченным силезцам или Плвачу, не лучшему, или жестокому Конраду Мазовецкому, который уже стягивает в помощь Орден Братьев госпиталя немецкого дома, что родился в Иерусалиме, и Хелмно им уже дал...

Мшщуй, слушая, схватился за голову.

– Как! – крикнул он с великой пылкостью. – Ещё один немецкий орден у нас? И ему уже землю выделяют!

– Это действительно так, – произнёс епископ, – и угрожает не одна эта опасность! Поэтому мысль, что и ты, Мшщуй, мне нужен, что я без твоей руки, сердца, головы и совести обойтись не смогу... что время вылезти из своей скорлупы...

Когда епископ это говорил, запели первые петухи.

– Пора идти на отдых, – сказал он, – завтра после святой мессы поговорим больше...

III

Проводив епископа в гостевую комнату, в которой ждали слуги, видя, что Иво, едва туда вошедши, бросился на колени и с великим рвением и пылом вслух начал молиться, старый Мшщуй вышел, оставив его одного.

В это время на Белой Горе у него обычно все спали, и он сам уже отдыхал, теперь гость, которого много лет здесь не видели, держал весь двор на ногах и в каком-то беспокойстве. Возвращающегося из гостевой комнаты Валигуру ждали все домочадцы, чтобы появились по первому знаку. Но старик шёл, как бы опьянённый тем, что слышал, что говорил сам.

В его голове шумело, звенело в ушах, одурманенный, ослеплённый, он плёлся, не зная хорошо, куда идёт.

Его пробудил только свет от очага, который поблёскивал из раскрытой двери его спальной каморки.

Он поднял голову и заметил своих дочек, стоящих за порогом, которые ещё не ложились, может, из-за великого интереса к этому пришельцу, в котором угадали родственника, хорошо не зная, кто был. То, что отец, который никогда никого не принимал, позволил его впустить, и так долго провёл с ним на беседе, свидетельствовало, что муж был в своём роде сильным и большим.

Девушки слышали о благочестивом епископе Иво, и хотя из мира сюда мало что доходило, тем больший питали к нему интерес. Как сам Мшщуй за границы своей земли не выходил много лет, так и дочек держал при себе взаперти. Сына не имел, давно овдовел, были они одни его радостью, но и очень большой заботой.

Заглянув в свою комнату, он увидел их обоих, стоящих на пороге, с веночками на головах, наполовину улыбающихся, наполовину настороженных, а оттого, что от очага на них сильно падал свет, эти две сияющие женские фигуры показались какими-то страшными в нём, как два призрака, и он вздрогнул.

Две дочки Мшщуйа были близнецами, так друг на друга были похожи, что их даже днём отец мог с трудом отличить. Это сходство делало одинаковыми не только белые лица, голубые глаза, золотые косы, рост, движения, голоса, но и давало им, так сказать, одну раздвоенную душу...

Даже будучи вдалеке друг от друга, и не зная о себе, девушки думали одно, делали одно, желали того же, грустили и смеялись разом. Обойтись также друг без друга не могли и не умели, а когда должны были расстаться на более долгое время, тосковали до безумия. Заболела одна из них, ослабевала другая. Не нуждались в разговоре, чтобы понять друг друга, думали одинаково. Разом просыпались, засыпали в одну минуту. Не противоречила никогда одна другой.

Мшщуй любил их одинаково, и в самом деле любовь к ним была как бы любовью к одному существу, раздвоенному.

Обеим было восемнадцать лет и звались одним именем Халки, с той только разницей, что та, что, будто бы была старше, носила имя Халки, а другая Хали.

Мшщуй звал их словно одну... шли вместе на его вызов...

Одевались так, что отличить их было невозможно, а платья отличались только более тонкой тканью от тех, какие носили деревенские девушки, потому что Мшщуй из ненависти к немцам ничего не допускал дома, что было бы чужим продуктом. Самая главная вещь, когда не своя была, когда не родилась на своей земле, в своём доме, не имела у него милости.

Даже его люди должны были пользоваться старым оружием, так как привезённого из Германии и из-за границ не терпел, велел ломать и выбрасывать... В поселениях около Белой Горы также были всякие ремесленники и они носили названия от ремёсел, которыми люди в них занимались.

Ни один торговец, которых уже в то время и из Германии, и из Италии скиталось множество по стране, на землю его ступить не решался. По правде говоря, люди иногда втихаря выскальзывали на соседние ярмарки, дабы купить себе что-нибудь заграничного, но должны были это скрывать, так как Мшщуй сурово за это наказывал.

Одному ксендзу для святой мессы было разрешено приказать привезти вина из Кракова, но упрямый Мшщуй, прослышав, что в Чехии ради вина для святой жертвы священники разводили виноградники, привезя от бенедиктинцев из Тынца отростки, повелел у себя также сажать виноград, от которого, хоть он замерзал и не созревал, отказаться не хотел.

Так было у него со всем.

Увидев двух своих Хал на пороге, Мшщуй остановился и долго на них смотрел.

– Чего вы тут ещё стоите? – спросил он, смягчая свой голос для детей. – Ведь первые петухи пели?

Халки поглядели друг на друга, договариваясь глазами, – и не дали ответа.

– Идите спать, – добавил Валигура, – и вставайте до наступления дня, чтобы гостя, брата моего, епископа Иво, обеспечить полевкой. Благословит вас муж святой, когда ему поклонитесь. Хочу, чтобы вы и на мессе его были, о чём ксендзу Жеготе дайте знать...

Говоря это, Мшщуй задумался, и поправился:

– Пусть-ка Жегота, ежели не спит, придёт ко мне...

На прощание он поцеловал головки обеих Халок, и они исчезли, убегая, как перепуганные птички. Хотя был поздний час, ксендза Жеготу недалеко, по-видимому, пришлось искать, потому что, едва ушли девушки, на пороге показался маленький человечек, тщедушный, с коротко постриженными волосами на голове, в тёмной, не слишком длинной одежде, подпоясанной широким поясом. Он был бледен, очевидно, испуган, а руки у него были отчаянно заломлены, когда входил.

Поглядев на него, Мшщуй не понял, что с ним.

– Ну что, отец Жегота, – сказал он, – дождались мы епископа на Белой Горе...

– А! Милостивый пане, – отпарировал ксендз, – чего я боялся, то будет. Я слышал о ксендзе Иво! Я знаю! Он суровый. Теперь все епископы взяли на себя, чтобы из нас монахов сделать. Запрещают жён... не годится нам уж семью иметь.

Знаю, знаю, – говорил он быстро и беспокойно, – рассказывают, что это приказ из Рима, что под проклятием приказали жён вытолкать. Где кто это слышал? У нас этого никогда не было!

Прислал, я слышал, папа римских легатов и вводили везде, что он приказал. Только в Праге, в Чехии так сопротивлялись ксендзу, что в костёле чуть до кровопролития не дошло, а у нас, а у нас уж...

Он опустил голову.

– Ну, видишь, – проговорил мягко Мшщуй, – я тебе давно пророчил, что тебе с твоей разделиться нужно... Что теперь будешь делать?

Ксендз Жегота стал тереть лицо руками.

– А долго он тут пробудет? – шепнул он тихо.

– Не знаю, – сказал Валигура, – но дольше ли, короче ли, ты ему должен представиться, а спросит тебя, лгать не можешь, а прикажет тебе, непослушания не стерпит.

Ксендз простонал.

– Ваша милость, вручайте меня, – вздохнул он, – что делать! Жёнку, что мне доверилась, я не брошу, кусок земли возьму у вашей милости и кметом буду, когда меня от алтаря отгоняют.

Ксендз Жегота заплакал и поднял к небу руки.

– У нас никогда ещё этого не было, чтобы ксендзам жениться запрещали. Чем же мы виноваты, что раньше жену выбрали? Всё это пошло от монахов, что, не имея своих жён, завидовали, а по их примеру и нам теперь запретили.

Ксендз плакал.

– Пожалуй, мне лучше не показываться епископу, – прибавил он, – потому что первый вопрос будет: есть ли жена? Я скажу: есть. Прикажет идти прочь...

Он обратил глаза на Валигуру, который смотрел в огонь.

– Милостивый пане мой, – простонал он, – а вы же меня, бедненького слугу своего, не захотите защитить?

– Чем вам помогла бы моя защита? – спросил Валигура. – Не моё дело – костельные ваши дела. Гетману нет дела до клирика, а епископу до солдата... Я только знаю, отец мой, что не отпущу вас и с голоду умереть вам не дам, об остальном должны думать сами, потому что я с этим не знаком.

Валигура вздохнул и засапел, берясь за голову.

– Гм, – прибавил он, – в молодости я бывал в Риме, жён священников нигде там не видел, но... разное бывало! Всякое говорили! Вы должны слушать приказания, отец, времена изменились.

Ксендз Жегота снова тяжело вздохнул, его слёзы лились так обильно, что не успевал их вытирать обеими руками. Он не знал, бежать ли от епископа, представиться ли ему и к ногам пасть, просить о милосердии, или также – что ему казалось более безопасным – убежать и скрыться.

Бедный ксендз схватил Валигуру за руку и, постоянно вздыхая, долго её целовал, прося о милосердии, хоть не говорил ни слова; закрутился потом по комнате, точно хотел что-то говорить, но, поглядев на хмурого хозяина, отпала охота и отвага, – вышел, бормоча, и исчез в темноте.

Мишцуй, что собирался сразу лечь в кровать, остановившись как мраморный, у огня, не видя слуги, который ждал, оставался долго в глубокой задумчивости.

Его всего передёрнуло это прибытие брата-епископа, много лет отсутствовавшего, и приближение хоть словом к тому свету, от которого в течение стольких лет до него не доходил ни один голос.

На следующее утро замковая часовня, которая служила приходским костёлом околицы Белой Горы, была приготовлена к приёму пастыря. Это строение неподалёку от жилого дома было не слишком обширным, потому что все старые костёлы были у нас поначалу небольшие. В святыне размещались обычно духовные и достойные, а народ стоял у паперти и перед дверями. Построенная из дерева, она практически ничем не была примечательна, кроме того, что над крышей имела вид низкой башенки с крестом, в которой висел колокол, зовущий на молитву.

Ризница была припёрта сбоку отдельной избой, сама же святыня, разделённая низкой деревянной галерейкой, содержала один алтарь, поставленный недалеко от стены, покрытый обшитыми узорами белыми скатертями, а на нём чёрный крест и подсвечники.

Две хоругви Радвановой формы, прикреплённые с обеих сторон к галерее, подсвечники из оленьих рогов в стенах представляли всё украшение деревенского костёла. Сквозь несколько окон, закрытых ставнями, влетали и вылетали, щебеча, воробьи, которые казалось, чувствуют там себя, как дома. Две Халки, которые очень радовались прибытию епископа и хотели присутствовать при богослужении, с рассвета уже бегали возле этого Божьего домика, дорогу к которому велели присыпать зелёным ирисом, а у двери повесить зелёные ветки.

Старичок в длинном чёрном одеянии, какой-то дальний родственник ксендза Жеготы, человек набожный, которому не хватало только знаний, чтобы стать ксендзем, как в душе желал, издавна имел в опеке ризницу и помогал пробощу при костёле. Носил епанчу священника и считал себя почти духовным лицом.

Он с девушками заранее там всё приготовил, чтобы, когда епископ встанет, нашёл готовым для мессы всё, что нужно... Ксендза Жеготы всё ещё видно не было. Из совещания с Добрухом, поскольку так звали мнимого священника, узнали, что пробощ был болен и не показывался, избегая вопросов, на которые бы ответить не мог, не осуждая себя.

Раньше, нежели его ожидали, вышел ксендз Иво с книжкой в руке, молясь по которой и не глядя, что делалось около него, предшествуемый мальчиком, данным ему для услуг, направился прямо в костёл. У двери его ждали девушки, одетые в белую одежду, которые с бьющими сердцами смотрели на приближающегося, и когда он уже подходил к ним, со склонёнными головками опустили на колени, почти преградив ему дорогу.

Епископ увидел их только, когда уже был у самых дверей, поднял глаза и с добродушной улыбкой начал к ним с интересом присматриваться. Две эти фигуры, так похожие друг на друга, отмеченные такой любовью, невинностью и какой-то деревенской простотой, пробудили в нём какое-то дивное чувство... Он поднял руку, сложенную для благословения, но сначала спросил:

– Дети мои... ведь вы дочки Мшщуя? Да?

Девушки, не смея ответить, очаровательно ему улыбнулись, обе обливаясь одним румянцем.

– Благослови вас Бог! Пусть благословит, ангелочки мои, и сохранит такими чистыми, как сейчас.

И начал осенять их святым крестом, когда они, взяв полу его облачения, целовали её.

Валигура, заметив, что ксендз уже пошёл в часовню, последовал за ним... Из других строений как можно быстрее вышли все верные люди, что там были, потому что в ту же минуту Добрух послал мальчика к колоколу, и слабый голос кованной махины звучал уже по дороге, словно в праздничный воскресный день.

Епископ, снова помолившись на пороге, пошёл прямо к алтарю. Удивило его, может, то, что ксендза у двери не нашёл, как должно было быть. Он пошёл помолиться минуту у алтаря, на котором жёлтые восковые свечи уже были зажжены, а, увидев Добруха в одежде священника, стоящего на коленях у ризницы, он и сам, встав, направился к нему.

После того, как тот поцеловал его руку, он спросил:

– Кто ты, брат мой? Где пробощ?

– Болен, – процедил Добрух, – а я костельный слуга...

– Болен? – повторил епископ, будто бы что-то припоминая. – Болен?

Добрух едва слышным голосом подтвердил это, опуская голову...

Ксендз Иво задумался, постоял немного в какой-то неопределённости и, громко помолвившись, начал одеваться к святой мессе. Убогая ризница не могла его обеспечить такими облачениями, в каких он привык приближаться к алтарю. У Мшщуя и костёл даже должен был обходиться домашними поделками. Чаша была серебряная, но просто выкованная, дискос – такой же, риза – сшитая детьми в ярких цветах на шерстяной ткани.

Добрух сам пошёл служить епископу... Казалось, что эта простота и видимое убожество не производили впечатления на набожного пана, который всё, что имел, во славу Божию обращал. Святую мессу он совершил так погружённый в Бога, в каком-то таком воодушевлении, что не видел ничего, что делалось на земле; эта набожность так всех пронимала, так проникала в сердца, что Добрух расплакался во время мессы, девушки вышли с неё, точно вернулись с другого света.

Сам Мшщуй почувствовал себя изменившимся и смягчённым.

Что могло так подействовать на присутствующих, никто сказать не мог. Епископ читал святую мессу тихим голосом, не пел песни, ни проповедовал понятным языком, шепча, проговаривал молитвы – что-то всё-таки в его фигуре, движениях, взгляде было таким, что сколько

бы раз он не обратился к людям, головы тревожно наклонялись, все падали ниц и какое-то страшное и блаженное чувство пронимало их дрожью.

А когда в конце мессы он поднял руку для благословения, у старого Мшщя были на глазах слёзы.

Торжественное молчание во время богослужения едва прерывал щебет воробьёв.

Осеннее туманное и хмурое до сих пор утро вдруг в конце мессы прояснилось, белые облака растворились и засияло солнце. У костельных дверей молящегося епископа ждал Мшщуй со своими дочками, которые, поплакав при мессе, теперь уже были весёлые как пташки и рассказывали отцу, как ксендз Иво их благословил.

Вскоре вышел и он, также повеселев духом, с ясным лицом, приветствуя брата.

– Бедно у вас в Божьем доме, – произнёс он, – но Бог не нуждается ни в серебре, ни в золоте, только в сердце. Хуже, брат, что ваш пробощ болеет и для службы нет никого. Что же? Верно, он старый? Нужно бы ему младшего помощника?

Мшщуй молчал, не желая отвечать. Епископ обернулся к девушкам, которые шли за ними, и похвалил их, что красиво молились; начал удивляться, что они так были похожи друг на друга. Это их порадовало, так как были горды и счастливы от этого чуда, что их взяло в одно тело... и дало им одно сердце.

Они снова вошли оба в ту комнату, в которой Валигура вчера принимал брата, а там уже был поставлен завтрак на столе и горячая полевка ждала в мисках.

Девушки, проводив гостя до порога, ушли. Братья остались одни. Мшщуй прислуживал епископу, койи после вчерашнего поста, вовсе не чувствовал себя ни ослабевшим, ни голодным.

Его занимала другая забота.

– Ты думал о том, что я вчера тебе говорил? – спросил ксендз Иво. – Я, не в состоянии больше ждать, молился, чтобы тебя Дух Святой вдохновил...

Поглядел на него; на лице Валигуры, вчера ещё словно внутренней бурей метаемом и беспокойном, сегодня видна была неуверенность, сомнение, одним словом, колебание, которое предсказывало, что сопротивляться не должен.

Епископ это ясно понял...

– Будь со мной откровенен, – сказал он, – если бы я тебя силой и авторитетом моего старшинства мог потянуть за собой и склонить к послушанию, не хочу считать тебя неубеждённым, идущим мимо своей цели, – хочу, чтобы и ты желал того же, что я...

– Одно скажу тебе, – отозвался Мшщуй, – какая вам польза от меня? Вы меня знали когда-то тем сильным Валигурой, который и на людей, и на гору был готов броситься – сегодня я иной. Этот долгий отдых меня сломил и ослабил, в собственную силу нет веры, ни один человек не сумеет противостоять тому, что, может быть, написано на небесах.

Так же, как это наше некогда великое королевство разлетелось на куски и может погибнуть, так, может, и Одроважам суждено пасть и Яков питать своей жертвой.

И на то смотри, что я сейчас слепой, ваших людей не знаю, даже тех, которым был близок... Не знаю, что стало с Лешekom, который был храбрым рыцарем под Завихвостом, а князем быть не умел. Мог ли я предвидеть и угадать, мой Иво, что ты вырастешь в такого большого пастыря, который будет стоять на видном месте? Также сегодня не знаю, что стало с теми, которых знал маленькими. Выросли? Или уменьшились? На что же я вам пригожусь, такой слепой и такой слабый?

– О, брат мой, – произнёс епископ, – не долго тебе нужно будет учиться! Глаза у тебя обновлённые, ясней увидишь то, что мы, постоянно смотря, свыкшись, уже мало замечаем.

Одроважам нужен светский вождь, деятельный, так как я им есть и буду духовным. Мне не на всё следует смотреть, не обо всём знать, не везде войти, не всегда быть суровым, где нужно.

Я умею только молиться, предчувствовать и созывать, когда чувствую опасность. Ты вчера говорил о разорванном королевстве, что беда ему, я скажу то же самое о роде, который, когда головы и единства не имеет, нет, пропадёт... Мы как свиньи, что обороняются от волка, построившись плотным круг, а когда разбегаются, хватают их.

Но не о нашем роде идёт речь, брат, ведь в Божьей власти поднять его и повергнуть; речь идёт о королевстве, чтобы хуже разорванным не было и потерянными для той славы Небесного Пана, на которую оно должно работать, принимая Его слова в душу и будучи в состоянии воплотить их в жизнь.

Погибнем мы, падёт с нами край силой варваров и в жертву людской злобы.

– А я как вам пригожусь, такой маленький человек, для такого великого дела? – спросил Мшщуй. – Ни до Говорка, ни до воеводы Миколая не дорос, ни до Кристина с Острова, о судьбе которого дошли до меня вести... Ты знаешь, как они все кончили! Говорек должен был добровольно идти в изгнание, другого мать Лешкова склонила и он должен был отдать себя Мешку, служить ему, всю жизнь делая лживой. Наконец Кристина Конрад приказал ослепить, посадить в тюрьму и убить за то, что служил ему и родину защищал.

– Да, – прервал епископ с запалом, – но это есть делом великих добродетелей на этой земле, что они страдать должны были за других, и это их триумф, что мученичеством кончают. Тебе же нечего бояться плохого конца, потому что будешь иметь во мне сильную поддержку. Я же, благодаря всевышнему Богу, имею силу, какую он мне дал на славу свою и не сдамся легко. За мной и со мной пойдут все епископы, отец наш гнезненский и всё наше духовное войско и вся монастырская сила.

– Стало быть, зачем я нужен? – спросил Мшщуй.

– Чтобы быть мне правой рукой, – воскликнул епископ, – рукой, в которую я бы верил как в собственную!

Валигура молчал, опустив голову.

– Говори, милый брат, как стоите? Что будем делать? – сказал он потихоньку, уже как бы наполовину побеждённый.

– Я должен тебе поведать всю нашу историю, которой отчасти был свидетелем после смерти Казимира? – начал епископ.

– Да, говори всё, поскольку ничего не знаю, – подтвердил Мшщуй. – Ведь десять лет уже живу в этой пустыне, а что тут до меня доходило, часто так в устах людских искривлялось, что не знал, ни откуда шло, ни куда! В пуще голоса исчезают...

Епископ слегка пожал плечами.

– Ты хотел сам обо всём забыть, и поэтому тебе уже сегодня нужно повторять даже то, о чём знал.

Мшщуй, опершись на руку, готовился в молчании слушать, а Иво не спеша начал повествование.

– Ты хорошо знаешь, как по промыслу Божьему умер Справедливый? Кто был виновником этой внезапной смерти доброго короля: недостойная женщина, враг, предатель, или сама десница Божья послала эту смерть, которая иногда, когда хочет спасти, наказывает, – не нам судить.

После Казимира остались младенцы... и вдова, добрая пани, но слабая женщина, которой каждый по очереди мог навязывать, что хотел, которая из страха за детей и за себя хваталась по очереди и за Говорка, и за Миколая, и готова была доверять старому Мешку, хотя знала, каким он был для её мужа, и как желал править.

Едва Казимир закрыл глаза, уже все князья сбежались в Краков, добиваясь его наследства, хоть остались дети... Знали все, что Хелену легко можно было заполучить и подойти к ней добрыми словами. Силезские князья и Мешко хотели захватить Краков, панство королевы, и потомство Казимира выгнали бы с вдовой, если бы мой предшественник в епископской сто-

лице не встал стеной при сиротах и на праве крови против права выборов, которое бросало государство в добычу фантазиям могущественных...

Мешко Старый, как всю жизнь, так и теперь, не уступил. Ты помнишь всё-таки, что это разрешилось кровавой битвой под Мозгавой у Енджиева, где свои со своими яростно резались, а Мешко, потеряв сына, едва вышел оттуда целым, спасённый солдатом, который бы его убил, если бы тот шлема не снял и лица ему не показал. Не сумев оружием, Мешко старался захватить Краков предательством, и направился к Хелене, желая быть только опекуном Лешека. Слабая женщина послушала его, пошла в добровольное изгнание с детьми в Сандомир на Пепжову Гору.

Мешко, завладев Краковом, начал править по-своему; вскоре его выгнали, но ещё раз обманул Хелену сладкими словами, и если бы не смерть, уже Казиминова кровь не сидела бы в столице. Нам же нужна та кровь Справедливого, а не потомство Мешка, потому что с кровью приходит добродетель и жажда власти, которая не обращает ни на что внимания.

И помнишь то, как Тонконового взяли в Краков, с позволения Лешка, который править не хотел. В Тонконогом, хоть добром, мягком и набожном, играла отцовская кровь – он хотел царствовать сам и над народом и над нами, которые власть имеем от Бога. Нужно было убрать его, чтобы Лешека, законного пана, вернуть...

Победа под Завихостем так устроила, что краковяне вспомнили Казиминова сына, а Тонконогий ему уступил.

Кажется, что тогда всё счастливо окончилось, – вздохнул Иво, – но это только начало.

Мы бдили и бдим, а всё-таки не можем сказать, чтобы были уверены, что себя и государство спасём. Набожные князья завидуют нашей власти и постоянно на неё наступают. Хочется им самим царствовать, это значит, что желают править без Бога и закона. Из крови Мешка, если Тонконогий нам уже не грозит, ещё более страшный, потому что яростный и более смелый, Одонич Плвач, хоть полной горстью сыплет костёлу подаяния, но хочет быть ему паном... Также силезские князья, хоть набожные, слова и жизнь уничтожают на постах и молитвах, превозносят костёл... Наилучший, наконец, даже сын Казимира Конрад Мазовецкий, резкий, жадный до царствования и неудержимый, когда речь идёт о цели. Наконец сын Мшщуя, Святополк Поморский, голова рода Яков, не только хочет добиться подчинения своему пану, но поджидает его свержения.

Против них, явных и тайных неприятелей, против Руси Лешек слаб, хоть нашу силу имеет и будет иметь за собой...

Создаются заговоры, которые мы... я, мой брат, скорее предчувствую и предвижу, чем о них знаю.

Одонич женился на сестре Святополка за то, чтобы ему служил, вместе идут... Силезские князья с нами, но как долго выдержат, когда им засветит надежда захватить Кракова?

Епископ замолчал, покачивая головой.

– Беда! Беда этому королевству, – прибавил он, – ежели или беспокойная кровь Мешка, или тот, что уже вкусил крови, Конрад, или даже онемеченные силезцы получают нашу столицу... беда этому королевству, потому что вместо того чтобы нами правил светский князь, с помощью и совместно с духовными, кои будут воздерживать его от тирании, будут остерегать от беззакония, – попадёт в узы одного человека, жадного до власти, кто будет убивать пчёл, чтобы мёд захватить. Пойдёт в неволю духовенство, а с ним закон Божий, милосердие и охрана святых заповедей.

Эта борьба, брат мой, не за кусочек земли, не за правление того или иного князя, но гораздо значительнее, гораздо более важная, чем за всякие права человека. Должно ли это государство быть осуждено, как стадо скота, милостью и немилостью, или правом детей Христа?..

Валигура слушал.

– Брат мой, – сказал он тихо, – говорю с тобой как на исповеди, открывая тебе свою душу. Не сердись на меня. Стало быть, это борьба, как говоришь сам, о том, кто будет править – князя или епископы?

– Не отрицаю! – воскликнул Иво, вставая. – Но присмотришь же к миру и скажи мне, что лучше: слуги Божьи в роли ваших паны, или слуги собственных страстей?

– А среди вас, брат, – сказал Мшщуй, – разве нет также слуг страсти, не имели гордых и жадных до власти?

– Да, есть среди нас такие, потому что мы люди, – изрёк Иво, – но нас держит крест на груди, страх Бога, клятва, наше священство. Забудется один, не все, – светские паны упиваются своей силой, когда границ её не чувствуют. Мы – границы для них, стражи и стражи закона...

Валигура не отвечал ничего, а Иво добавил потихоньку:

– Господство Рима – не опасность для нас, а опека. Да, брат мой, Лешека всеми силами нужно поддержать, потому что тот не сопротивляется нам и видит, что только с нами в безопасности, когда другие нами прислуживаются, чтобы позже измучить нас и в подданство обратить.

Сказав это, над склонённой головой старого Валигуры епископ дрожащей рукой начертил в воздухе крест.

– Встань, – сказал он, – и иди, благословляю тебя. Брось всё и сопровождай меня, собственными глазами увидишь, как ты был нужен... С прежних времён ты, наверное, знаешь некоторых князей, узнаешь других; увидишь, каким стал тот наш Лешек, которого мы воспитали.

Валигура встал, послушный приказанию, но на его мужские глаза набежали слёзы.

– А мои дети? – выцедил он потихоньку.

– Что же твоим детям в этом гродке замковом угрожает? – спросил епископ. – Пожалуй, одна тоска по тебе. Не будешь всё же так занят нашими делами, чтобы не было возможности заглядывать домой. Старая женщина охмистрина останется с ними, верная служба...

– А! Брат, они не имеют матери, а отца никто им не заменит, – вздохнул Валигура.

– Почему бы тебе не взять с собой дочерей в Краков? – спросил епископ.

Услышав это, Мшщуй затрясся.

– Пусть Бог от этого уберёжёт! В город их брать – людским взглядам подвергать! Нет, нет.

– Они набожные, – сказал Иво потихоньку, – где больше счастья для них и покоя, если не в монастыре? Если бы ты хотел, почему бы им не жить в Сандомире с принцессой Аделаидой, сестрой нашего пана?

– Нет, – отпарировал Мшщуй, – слишком привыкли к свободе.

– Всё же, что думаешь на будущее для них?

– Сам не знаю, – вздохнул тяжело Валигура. – Это моё единственное сокровище, с которым мне будет трудно расстаться, которое поделить не знаю как... Господь Бог меня ими благословил и покарал, потому что, как близняшки, они привязаны друг к другу, так, что жить бы раздельно не могли, и нужно бы, пожалуй, в мужья им двух братьев, как они, рождённых от одного отца, что бы разлучаться не хотели.

– Кто же знает, – шепнул Иво, – не знак ли это как раз, что они предназначены для того небесного жениха, сердца которого хватит на миллионы.

Мшщуй ничего не отвечал. Несмотря на заботу о дочках, был он уже настолько под властью епископа, что сопротивляться не смел.

– Иди теперь, – произнёс Иво, – уладь свои домашние дела, сдай управление, осмотри крепость, дабы меня, во имя Господне мог сопровождать... Забираю тебя с собой.

Валигура и против этого приказа не мог сказать ни слова, склонил голову и вышел, а епископ, пользуясь минутой, открыл лежащую на столе книгу и спокойно начал молиться.

А так как на молитве время у него обычно уходило так быстро, что никогда его рассчитать не мог, хотя Валигура долго отсутствовал, Иво не заметил, когда увидел, что он входит в комнату.

Когда он обратил на него глаза, едва узнал в нём того, что видел мгновение назад. Валигура, принуждённый выбраться в дорогу, должен был сменить одежду, надеть доспехи, давно уже неношенные, и снова после многих лет домоседства вернулся к юношеским, забытым привычкам.

Но какими же епископу, привыкшему к новым рыцарским доспехам, показались дикими и странными оружие и одежда.

Всё, что было на нём, неловкое, тяжёлое, имело старинные черты и в глазах людей на дворе Мешка и других князей делало бы Мшщуя смешным.

Кожанный панцирь с ржавыми бляшками, толстые ходаки, привязанные простыми верёвками, одежда из кож, произведённых дома, сукно из собственных станков, неокрашенное, колпак с железными обручами, который держал в руке.

Епископу, привыкшему к итальянскому рыцарству, к императорским придворным, к изящной одежде силезских панов, – этот наряд казался недостойным потомка Одроважей...

– Милейший брат, – воскликнул он, видя входящего, – видит Бог, что платью и жалкой роскоши я не придаю значения, которое было бы грехом, но не нужно, чтобы ты слишком притягивал на себя людские взгляды, а в этой одежде и вооружении... глупцы будут тыкать пальцами и смеяться над тобой.

– Так это была бы мелочь, – ответил Валигура, – потому что их смех, равно как аплодисменты, нейтрален; хуже то, что вашей милости стыдно было бы за моё деревенское убожество. Но всё, что к нам из Германии привозят, – добавил он, – отвратительно мне и противно. Ведь и доспехов новых у меня нет и не хочу иметь других, чем наши домашние.

Иво улыбнулся.

– Значит, тебе бы нужно из Италии или какого более дальнего края их, пожалуй, привезти, – сказал он, – а тем временем хоть епанчу возьми, чтобы ты мог со мной ехать. Одроваж обязан своему сильному роду, пока в свете, отвечать внешностью. Светиться не нужно и смешить нельзя. Цеслав и Яцек, дорогие мои, носят толстые платья, но те с Богом, не со светом общаются, а тебе перепадает тяжкая часть, дела с людьми.

Валигура стоял, смотря на окно.

– А! Если бы ты меня не вытянул отсюда!.. – вздохнул он.

– Будешь служить Богу, не мне, – произнёс епископ, – ибо есть разные дороги и призвания, и в монастыре, и в свете Ему одному служить нужно. Не для себя беру тебя, но для Господа...

Голова Валигуры упала на грудь, он заколебался и вышел медленным шагом.

Солнце уже клонилось к западу, когда из гродка на Белой Горе выступил Иво, а за ним следовал, оборачивая голову на дом, у колонн которого стояли две Халки и плакали, старый Мшщууй, укутанный тёмной епанчёр...

Он ехал, точно пленник в неволю, сердцем обращаясь к своей спокойной резиденции, в которой столько лет прожил среди тишины, снова возвращаясь к борьбе, которую считал законченной, к людям, от которых отрёкся, к работе, от которой отвык.

– Богу на славу! – говорил в сердце своём старик.

IV

В лагере крестоносцев после отъезда епископа долго развлекались разговорами, к которым не много молодёжи могло подстроиться. Плащи с крестами, которые имели на спинах Конрад из Ландсберга и Оттон из Саледен, вовсе их не удерживали от весёлых бесед о светских делах, о приключениях на востоке, в которых красивые женщины играли не последнюю роль, преимущественно о рыцарских делах, о весёлых забавах во время этих экспедиций в Святую Землю, которым сопутствовали не святые кумушки и не набожные певцы.

Говорили о богатой добыче захваченных городов, о похищенных красавицах и об участи, какой позже они подвергались в неволе.

– Заключая из всего, что мы тут видим по дороге, – сказал рыжий Оттон, – ничего подобного в этих краях мы ожидать не можем. Действительно, землю завоевать будет легко, но золота и серебра она не делает... а люди больше похожи на зверей, чем на человека.

– Всё же из Германии к нам наплывут поселенцы, чтобы этот край от языческой дичи освободить, – отозвался старый Конрад.

– А между тем, – рассмеялся Герон, племянник его, – по-видимому, нам нечего ожидать, кроме ран от их копий, а из добычи – кожухов и лубяных щитов!

– Одна вещь будет утешением, – вставил молодой Ганс фон Ламбах, – и признаюсь, что она мне необычайно улыбается; это край охоты! Зверья множество! Где-где, а здесь человек наохотится вдосталь!

– Люблю и я охоту, – сказал товарищ его Герон, – всё-таки мне её не хватает; после охоты хорошо иметь того, перед кем ею хоть похвалиться – тут же будет даже не с кем поговорить.

– Ошибаешься, – прервал его дядя Конрад, – на дворах князей жизнь по-нашему, немецкая, язык наш, песни наши, люди из наших земель...

– Только женщин тут наших не хватает, – рассмеялся Герон.

– Есть и наши женщины, – вздохнул крестоносец, – но то беда, что, как жена князя Генриха, Ядвига... очень святые и набожные, поэтому и на дворах больше слышно псалмов, чем любовных песен.

– Эх, – отозвался Ганс, – напрасно бы уже и лучше не говорить о том, что пробуждает тоску, – поговорим лучше об охоте. Я завтра уже должен ненадолго в лес пуститься, потому что мои руки свербят.

– Мы завтра должны собираться ехать в дальше, – сказал сухо Конрад фон Ландсберг, который командовал всем отрядом.

– Ведь не принуждают, – тише отозвался фон Саледен, – что за принуждение? Мы могли бы дать тут коням отдохнуть один день, а молодёжи дать немного в лесах поохотиться.

– Да, да, – сказал насмешливо Конрад, – чтобы где-нибудь попали на княжеские леса и стражу или на какие-нибудь трущобы епископа или аббата, и проблем бы нам прибавили.

– Ну и что, – крикнул Ганс, – всё-таки тем, кто рискует жизнью в защиту веры от язычества, никто не может запретить невинного развлечения. Я рад бы увидеть епископа или аббата, который посмел бы мне...

Старшие рассмеялись.

– Посмотрите на него, как уверен в себе, а креста не носит! – воскликнул Оттон. – А что же будет, когда вас в Орден примем!

– Так что, если бы нам, крестоносцам, – добавил Конрад, – было разрешено нечто большее, то не вам, которые ещё ими не стали...

– Добавь, дорогой дядя, – сказал Герон, – что, возможно, оба ими не будем никогда; пойти с вами, охотиться на диких людей, согласен, но давать клятву на всю жизнь...

– Этот особенно боиться, – засмеялся Оттон, – как бы его не миновала красивая дама и мягкое ложе.

– Как бы крестоносцы от них не отказывались, – мурлыкнул Герон, – своих не имеют, правда, но зато чужие на рыцарей сладко смотрят...

Смеялись и остроумничали.

Среди беседы молодёжь сумела убедить старых, которые часто заглядывали в кубки, что кони нуждались в отдыхе, а они в охоте. Челядь, коей спешить не хотелось, призванная на свидетельство, подтвердила то, что отдых был спасением для утомлённых лошадей.

Затем, утром позволили Герону и Гансу готовиться к охоте в соседних лесах, о которых никто не заботился, чьи были, ни о разрешении на охоту. Немецким рыцарям казалось, что на целом свете всё было им разрешено.

Оттон фон Саледен, хотя был старше своих добровольцев, также соблазнился охотой... Только Конрад, как командующий отрядом, решил остаться при своих кнехтах в шатре и отдохнуть до дальнейшего похода.

Того дня, когда епископ гостил ещё в Белой Горе, Герон, Ганс и Оттон двинулись со свитой в лес, взяв собак, которые были с ними, и двоих человек челяди.

Они вовсе не знали околиц, но привыкли в дороге ориентироваться по солнцу, деревьям и тропинкам, поэтому не боялись заблудиться и не думали заходить слишком глубоко в пуши.

Туманное осеннее утро, сырое, благоприятствовало собакам и охотникам. Едва пустились с опушки в густые заросли, когда их гончие начали лаять и отзываться, словно уже преследовали зверя.

Это разохотило молодых охотников, которые стремглав направились за ними. Но лес, видно, редко посещали охотники, зверя в нём было много, собаки, нападая на всё более новые следы, то тут, то там срывались и преследовали. Сами охотники видели в чаще мелькающих оленей и более мелкого зверя, не в состоянии ни из лука выстрелить, ни иначе до него достать. Хотя сперва всё обещало пройти как можно удачней, теперь, казалось, унижает двух неопытных и горячих юношей, над которыми посмеивался старший Оттон, сам больше желая быть свидетелем, чем участником забавы.

Преследуемые его издевательствами, Герон и Ганс всё живей мчались за собаками в лес, стараясь только держаться вместе и быть друг другу помощью. Пару раз удалось им выстрелить из тяжёлых луков, но стрелы прошли мимо или воткнулись в деревья...

Так всё время до полудня мучая себя и коней, потеряв собак, которые далеко отбились и едва порой доносился их голос, ничего не достигнув, блуждали они по лесу, когда более осторожный Оттон, постоянно над ними издеваясь, велел отдохнуть, и сам лёг, крича, чтобы трубили собакам.

Уже поднявшееся солнце вышло из облаков, день стал почти жаркий, поэтому все, задержавшись на пригорке, собрались немного отдышаться и подкрепиться.

Оба юношей проклинали местные леса и зверя, который, точно в насмешку, часто показывался, а схватить себя не давал.

Трубили собакам, раскладывая запасы, взятые из шатра, которыми голодный Оттон воспользовался первым, потому что Герон и Ганс спорили, сваливая друг на друга вину за неудачу.

Повернуть к лагерю с пустыми руками было стыдно, и хотя Оттон уже советовал вернуться, молодёжь упростила его, чтобы позволил им ещё испытать счастье... Собаки по одной, с высунутыми языками, запыхавшиеся, также медленно появлялись. Прибыл один из челяди, рассказывая, что встретил стадо диких свиней, которое, должно быть, прилегло недалеко в дебрях.

Ганс сразу вскочил, бросив еду и таща за собой Герона; созывая собак, пустился он со слугой, который должен был указать ему, где встретился с дикими свиньями. Они не много

отбежали от того места, где ещё лежал на траве Оттон, когда под огромным наполовину сгнившим стволом вдруг что-то задвигалось и засветились два огромных кабаньих клыка.

Собаки уже с обеих сторон пробовали хватать старого единца, который, казалось, с тяжестью вылезает из-под ствола. Герон и Ганс, оба заранее выпустив стрелы, которые увязли где-то в спине чудовищного зверя, достав мечи, смело с ними бросились на кабана, окружённого навязчивыми псами.

Ганс подбежал к нему первый, когда до сих неподвижный неприятель кинулся вдруг на бегущего и, разодрав клыком ногу, повалил его на землю. Герон, который с поднятым мечом следовал за ним, не имел времени отскочить с его дороги, и, раненный в свою очередь, упал, имея ещё столько отваги, что целый меч всадил кабану в шею. С ним вместе тот ушёл, обливаясь кровью, а собаки кусали его, удерживая, по дороге.

Забравшись в заросли, он исчез с их поля зрения.

Ганс пытался подняться, не чувствуя сперва, чтобы рана была тяжёлой, но, едва опёрся на руку, чтобы встать, упал лицом на землю и потерял сознание. Кровь ручьём лилась из его ноги.

У Герона нога тоже была порезана до кости, на которой острый клык остановился; рана, однако, была не так опасна или он более сильный, потому что, не потеряв сознания, имел время достать трубу и, хоть слабо, позвать на помощь... Крики, которые у них обоих невольно вырвались из груди в минуту, когда упали, призвали к ним Оттона и слуг.

Когда Саледен прибежал на место, находящийся ещё в сознании Герон указал на лежащего неподалёку Ганса, который, как труп, не подавая признаков жизни, распростёрся на земле.

– Вот вам ваша охота! – крикнул гневно крестonosец, осматривая Ганса, бледную голову которого поднял в руках, глядя на окровавленную и растерзанную ногу.

К рыцарскому ремеслу относилось тогда умение в первую минуту управляться с ранами, и Оттон, положив бессознательного на траву, сначала бросился завязывать ногу, чтобы остановить кровотечение. Герон, хоть ослабевший, хотел уже делать то же самое со своей раной. Челядь тоже вернулась, спеша на помощь.

Эту страшную рану Ганса, при виде которой Оттон покачивал головой, чуть ли не сомневаясь, что будет жить, перевязали платками... Герон также сжал свою ногу, на которую, однако, ступить не мог. Приводили в себя Ганса, ещё подающего признаки жизни, а тем временем, по совету Оттона, один из челяди сел на коня, дабы поискать какой-нибудь помощи и приюта.

В лагере, если бы обоих раненых и удалось туда довести, нечего было с ними делать, а пока живы, не годилось их оставлять.

Оттон ругал непослушную и неразумную молодёжь, которая вместо того чтобы быть им помощью, представлялась обузой.

Ругал Герона, который молчал, Гансу же возвращающийся обморок не позволял ни услышать, ни понять, что около него делалось.

Между тем дело было уже к вечеру, а посланный слуга не возвращался. Выбрали, к счастью, такого, который, кое-как мог понять местную речь, так как сам происходил с Поморья, но ребёнком его куда-то забрали и был воспитан в Германии.

Поэтому можно было иметь некоторую надежду, что, встретив где-нибудь людей, он ведёт помощь. Но вокруг был густой лес и на жилище, хату, человека нелегко мог наткнуться. Для этого нужна была особенная удача.

Уже смеркалось, когда в кустах слышались шелест и голос, а через мгновение показался посланец, ведя за собой старую испуганную женщину, худую, покрытую простой рубашкой, с седыми волосами, разбросанными по голове, словно дерзкая рука юноши посягнула на неё. Он и впрямь вёл её как невольницу, гоня без жалости, когда она оказывала ему сопротивление.

Когда они вышли на полянку и баба увидела лежащего на ней Ганса, хромящего Герона с перевязанной ногой и гордую фигуру Оттона, она испугалась ещё пуще и стала вырываться, складывая руки, на колени...

Парень, который её вёл, безжалостно стегал её по плечам. Сам, видимо, не знал, почему так издевался над старой, но от страха за раненых потерял присутствие духа, а никого, кроме бабы, в лесу не найдя, пригнал её почти бездумно.

Разговаривать с ней было трудно. Оттон, более хладнокровный, чем другие, видя, что крик и угроза могут только придать больше страха, приблизился к стоящей на коленях и просящей о милосердии, показывая ей раненых и руками объясняя, что нуждались в помощи. В поддержку своего языка знаков он бросил ей несколько серебряных монет.

Вид их подействовал счастливо, и осмелевшая баба встала, приближаясь к лежащим на земле; но, посмотрев на окровавленные платки, она широко расставленными руками начала показывать, что ничем этому помочь не может. Она указала, однако, сторону, где можно было найти помощь, а юноша, что её привёл, понял из её речи, что раненых следовало отнести в какую-нибудь ближайшую хату. Старуха предложила проводить к ней. Но Ганса нужно было нести, а Герон, хоть мог плестись с горем пополам, опираясь на плечо одного из слуг, часто должен был отдыхать – и несомненно могли дойти до обещанного схоронения.

Наскоро сделали носилки, которые можно было прикрепить к двум лошадям, а на одну из них Герон предложил взобраться, и пробовал, сможет ли ехать. Прежде чем нашли ветки, верёвки и устроили носилки, в лесу совсем стемнело, баба могла бы незаметно выскользнуть, но те серебряные деньги сделали её охочей и деятельной. Помогала челяди, ходила, выискивала и ловко плела ветки, на которых хотели положить Ганса.

Согласно её речам, медленно волочась, ближе к ночи они могли достичь обещанной хаты. Когда всё было наконец готово, тот поход с Оттоном впереди, которого сопровождала баба, пустился не спеша в лес. Герон мужественно переносил боль, стиснув зубы и не желая показать себя слабым, Ганс стонал и терял сознание, его приводили в себя водой и утешали тем, что путешествие не продлится долго. Оттон, хоть молчал, в душе проклинал всё это безумное предприятие юношей. Баба вела довольно долго чашей, по бездорожью, пока не попали на какую-то более видную дорожку. Тут уже надежда вступила в сердца, потому что старуха всё чаще показывала рукой перед собой, объявляя, что были недалеко до хаты.

Между ветвями заблестел свет, в воздухе почувствовали дым, дорога стала более широкой, и какая-то постройка оказалась перед ними. Была это лесная хата, наполовину в земле, наполовину над землёй, припёртая к валу, остроколам и воротам, что его закрывали.

Они как раз оказались у той пограничной стражницы Белой Горы, через которую не много часов перед тем проехал назад епископ Иво, ведя с собой брата...

Кортеж епископа, который тут его ожидал, двинулся за ними. Баба, опережая Оттона, побежала дать знать сторожу – а тот, вооружённый своим кованым прутком, появился тут же, испуганный. За много лет, что он прожил там, следя за границами, не случилось ему никогда одновременно видеть сразу двух путников у этих ворот, которые всегда стояли запёртыми, впуская и выпуская только редких посланцев Валигуры. Старик был испуганный и гневный тем движением, которое вдруг прервало его привычный покой. Отъезд пана, который никогда из замка не выдвигался, отсутствие его в доме ещё прибавляли тревоги.

Он притащился сам, чтобы посмотреть на прибывших, и, видя раненого на носилках, покалеченного на коне, а рядом гордо приказывающего рыцаря Оттона, он потерял голову.

В хате, в которой он размещался один с женой и подростком, не было для путников даже удобной лежанки, чтобы их можно было положить, для коня не хватало сарая, а на более длительное пребывание – еды для людей.

Оттон, между тем, позвякивая мечом, кричал и ругался, чтобы покинули хату. Старый сторож, от страха не зная, что начать, забежал в лачугу, закрыл дверь и заложил изнутри засов, закрыл ставни и положился на волю Божию.

Баба напрасно штурмовала закрытые окна, пытаясь убедить сторожа, чтобы принял раненых к себе...

Между тем Ганс стонал всё тяжелей.

В небольшом отдалении был лагерь крестоносцев, но о нём Оттон не знал, совсем обезумев на охоте; для раненых нужно было срочно искать какой-то помощи... Баба, убедившись, что тут их сторож не примет и не думает им отворять, хоть ему обещали награду, начала невыразительно бормотать о Белой Горе.

Парень, который всё лучше осваивался с её речью, понял, что за этими воротами был неподалёку какой-то замок, и что в него никого не впускали...

Этому он поверить не хотел.

Оттон фон Саледен, как только ему объявили о Белой Горе, тут же решил с ранеными ехать к ней, особенно, что гродек лежал неподалёку. Ворота в действительности были перед ними заперты, но на это крестоносец вовсе обращать внимания не думал... Ужасно выругавшись, он дал знак ехать к ним. Сам, слезши с коня, начал стучать в старые ворота, челядь легко их выломала.

Только услышав этот стук, тот сторож, запертый в своей хате, выбежал с жердью защищать, но тогда уже Оттон и следующие за ним кони, баба, что дорогу показывала, весь этот отряд перешёл траншеею и остроколы, и пустился дорогой к замку. Ночь была тёмная и холодная, осенний туман покрывал долины и только сверху кое-где мерцали бледные звёзды, когда Оттон снова увидел перед собой ворота.

Эти оборонительные ворота он и думать не мог захватить.

Стояли, ожидая, чтобы кто-нибудь появился со стороны замка. Нескоро что-то зашуршало на вышках и слабый голос спросил, кто и чего тут хочет.

Вопрос трудно было понять, а немецкий ответ на него Оттона имел тот результат, что человек исчез с вышки и наступило глухое молчание.

Оттон нетерпеливо трубил снова, а к своему рогу подбирал самые крикливые голоса, которые должны были всех разбудить.

Вдоль ворот и на воротах начали показываться люди, поглядывающие на стоящих внизу, но ни к разговору, ни к открытию ворот охоты не проявляли. Старая проводница взяла на себя убедить людей из замка. Рассказывала им всё громче и крикливей, где и как встретила этих немцев и как сюда попали.

Кто-то наконец отругал её за то, что привела к замку ненавистных людей, точно не знала, что нога их не стояла никогда в гродке Валигуры.

После долгих криков и пререканий кто-то сверху, тронутый ли милосердием, желая ли избавиться от беспокойства, велел путникам ехать под валами в подзамок и там в каких-нибудь сараях искать приюта.

Доступ в замок совсем запретили... Пана дома не было, а если бы он узнал, что у него немец, спалил бы собственное жилище, чтобы след стоп его стереть.

Оттон уже, согласно указаниям, хотел направиться к сараям, к которым та же самая баба предложила отвести, когда с ворот к стоящему на коне Оттону свесилась голова человека, которого впотёмках ему распознать было невозможно, и тихо и осторожно, ломаной немецкой речью начала расспрашивать.

Крестоносец, услышав понятные ему слова, считал себя спасённым.

– Во имя Спасителя и Матери Его Девы Марии, слугами которой мы являемся, – крикнул он запальчиво, – что же это за край? Какие в нём живут люди? Или мы уже попали к язычникам? Мы монахи Госпиталя немецкого дома из Иерусалима, мы призваны князем Конрадом для

захвата принадлежащей нам земли и борьбы с язычниками. В дороге наших юношей постигла в лесу неприятность, суровый зверь, на которого они необдуманно бросились, нам их жестоко поранил. Если мы не найдём приюта и помощи!..

Сверху послышался вздох.

– Край это христианский, – отвечал голос, – но пан этого гродка с немецкими рыцарями и не рыцарями вовсе дел иметь не хочет. И дома его нет, без него же никто вас сюда впустить не решится.

– И дадите этим благородным юношам понапрасну умереть! – воскликнул Оттон в отчаянье.

Не дали на это ответа, пока через минуту кто-то тихо не сказал:

– Езжайте в сарай у вала, езжайте. Хвороста достаточно, чтобы зажечь огонь, и вода поблизости найдётся. Отсюда, может, удастся дать вам помощь какую-нибудь...

– У вас, небось, есть кто-нибудь, кто бы мог раны осмотреть – пришлите его, мы заплатим... – крикнул Оттон гордо.

– Езжайте, – повторили сверху.

Снова тогда пришельцы должны были ехать дорогой на подвале, пока не показались покинутые сараи, сплетённые из хвороста, с наполовину сорванными крышами... Давно тут, видно, никто, кроме скота, когда на него, возвращающегося с поля, напала буря, не жил. Но что им было делать?

Баба, доведя их туда и боясь, наверное, чтобы её не наказали за услугу немцам, пришла попрощаться к Оттону, то есть напомнить об оплате, и задумала уходить; немец снова дал ей немного денег, но отпустить не хотел, потому что служить было некому.

Ей приказали собрать хворост и разжечь огонь. Челядь следила, она должна была быть послушной.

Была уже поздняя ночь; слышали поющих в гродке петухов и рычащих собак, которые, почуяв чужих, страшно лаяли и выли на валах.

Только когда разожгли огонь, Оттон мог рассмотреть окрестности: с одной стороны маячили чёрные боры и равнина, которая казалась болотом, с другой торчал над ними замок, холм, валы и остроколы. Привыкший к восприятию глаз крестоносца в некотором отдалении на холме углядел маленькую дверцу в остроколе, от которой крутая тропинка вела к сараям.

Оттон ещё разглядывал, когда у дверцы увидел какую-то тень человека, который, казалось, выходит из неё и осторожно спускается к ним той дорожкой. Он не верил глазам своим, но спустя мгновение этот человек стал осторожно приближаться и крестоносец мог даже распознать, что он был сгорбленный, небольшого роста, прикрытый епанчой с капюшоном. На него падал свет от костра, и длинная тень идущего по склону холма вытягивалась, подвижная, исчезая во мраке.

Оттон смело выступил ему навстречу. Заметив его, путник замедлил шаги, и оба с любопытством стали друг к другу присматриваться. Замковый человек с бледным лицом имел нерыцарскую осанку и никакого оружия не было – опасаться его Оттон не имел нужды, а был таким мужественным, что и четверых бы не испугался.

Был это ксендз Жегота. Он также, ведомый любопытством и милосердием, добыл из себя несколько немецких слов, некогда выученных, когда к духовному сану при немецких монахах готовился. Никогда он этого ненавистного языка не открывал Валигуре, во многом забыл его – но сегодня рад был, что кое-что из немецкого у него ещё осталось.

Воспоминание молодости, прелесть запретного плода, может, излишняя ненависть Валигуры к немцам в старом ксендзе Жеготе пробуждали противоречивые чувства. Язык казался ему почти приятным, имел какое-то очарование и мощь; представлялся ему речью народа, который в то время оружием и влиянием достиг даже до столицы Рима.

В этот день опасность, которой удачно избежал, сделавшись больным и избежав сурового приговора епископа Иво, давала ему милостивое расположение, из благодарности к Провидению за его благодать делала сострадательным.

Несмотря на то, что, выкрадываясь из гродка к ненавистным немцам, он подвергал себя гневу Валигуры, сбежал ксендз Жегота в помощь тем, которые в ней нуждались.

Его пронимал страх, но шёл, закрывал лицо, изменил голос, – а воздержаться не мог.

– Чем вам можно помочь? – шепнул он, приближаясь к Оттону. – Очень плохое привело вас к этому месту, наш милостивый пан, граф Мшщуй Одроваж из Белой Горы, муж могущественного и великого рода, не любит вашего народа.

Если бы он был дома, не на что тут было бы надеяться, прогнать бы велел. Я священник, хотя знаю, что за это могу ответить, рад бы служить монашеской братии, но я человек бедный, один и не много сумею, хотя очень хотел!

Оттон внимательно всматривался в говорившего, слушая.

– Немцы, или кто бы мы ни были – всё-таки люди!

Не годится убивать, это заповедь Божья, а тот убивает, кто не спасает! Двое милых юношей лежат раненые – стонут и некому их осмотреть. Смилуйтесь, мы голодные, силы исчерпались. Помогите, а если тут помощи нельзя ожидать, куда направиться?.. Недалеко отсюда должен быть наш лагерь, но и к нему попасть трудно, а если бы мы туда попали, что же мы сделаем с тяжелоранеными, мы вынуждены идти завтра в дальнейшую дорогу к князю Конраду, который нас ждёт.

Ксендз Жегота тёр лицо и пожимал плечами, то заламывал худые руки...

– Что я имею в убогом доме, тем с вами поделюсь, – сказал он, – даже и остатки отдам. Найду также, может, старую женщину, что понимает в ранах и травах... но тут вам долго пребывать нельзя. Не знаю, когда наш старик вернётся, а если бы вернулся, – беда вам и беда мне.

– Мы впутались в историю из-за этих молокососов, – отозвался Оттон, – но и в Бога надежда, что не оставит, и в худшем случае храбрости терять не годится. Давайте сперва что имеете, потом подумаем о дальнейшем.

Ещё молча ксендз Жегота спустился к сараю, в котором лежали раненые, пошёл взглянуть на них – подумал, забормотал и, склонившись перед Оттоном, вернулся в замок.

– Всё-таки и тут в этих дебрях, – воскликнул Оттон, – нашлась одна христианская душа и человек, что понимает человеческий язык!

Одна челядь суежилась, как могла, возле Ганса. Герон с великим трудом обрёл наперекор немного юношеской весёлости.

Сам себе перевязывал ногу и одновременно надзирал за товарищем и подшучивал над челядью.

– Если бы мы хоть убили того кабана и могли его съесть! – бормотал он. – А вместо этого он нас вкусил. В этом крае всё делается наоборот!

Неспокойный Оттон, несмотря на ночь, отправил уже одного из оруженосцев с лучшим конём искать лагерь, чтобы объявил Конраду о несчастном приключении.

– Езжай, – говорил он ему, – ты должен рано или поздно встретить наших, скажи, что случилось и что тут мы попали к неприятелям. Пусть брат Конрад подумает о нас...

Нескоро калитка на валах снова отворилась и, вместо одной, показались две фигуры и две тени, которые быстро приближались к сараю. Ксендз Жегота нёс корзину в руке, за ним с наброшенной на голову накидкой тащилась старая баба.

Других таких лекарей, как знахарка, мало где можно было найти. В гродке эта Дзиерла, которую по молодости звали, по-видимому, Дзиерлаткой, потому что была энергичной и своевольной, – выполняла всякие обязанности, какие приходились на бабу тех времён: ворожила, заговаривала, нянчила, давала любовное зелье и методы людям, а злые говорили, что была очень ловкой посредницей между паробками и девушками. Это, однако, происходило

так скрытно, что никто о том наверное не знал, а кому помогла, от страха молчал, потому что угрожала мстью.

В замке у неё был какой-то милостивый хлеб; не выполняя иных обязанностей, кроме работ по уходу за домашней птицей, свиньями, она иногда помогала в конюшне. Но всем она была нужна, а что больше, всех забавляла рассказами, потому что никто больше её сказок, слухов, особенных повестей не знал. Удивлялись ей, откуда она это брала, потому что никогда её повести не исчерпывались. Даже две Халки заходили в избу, в которой пряли девушки, чтобы её послушать вечерами.

Любили её люди, потому что каждому умела понравиться, а хотя за спиной насмеялась почти над каждым, никто об этом не догадывался, такой была милой в глазах.

Дzierла, хоть немолодая, ещё очень старой не была, а держала себя так смешно, точно хотела прикидываться молодой.

Порой даже надевала на голову веночек, хотя на него давно утратила право, и обвешивалась блёстками, её пальцы были все покрыты латунными и серебряными перстнями, ленты и красные ободки любила непомерно. Худая, жёлтая, загорелая, она имела чёрные огненные глаза, ещё тонкую и гибкую талию; издалека её кто-нибудь мог принять за девушку.

Ксендз Жегота чувствовал к ней сильное отвращение, она его сильно боялась, он, однако, должен был ею прислуживаться, не в состоянии её кем-нибудь заменить, а она охотно была послушна кивку, чтобы приобрести себе расположение.

И теперь также он вытянул её из угла, чтобы шла осмотреть раны.

Сам он, зная, что нужно больным и уставшим, в корзине нёс немного вина, которое использовал для святой мессы, кусок белого пирога, немного жареного мяса, сыра и масла.

Весёлая Дzierла, вступив на порог сарая и увидев, с кем будет иметь дело, приняла серьёзную внешность и пошла прямо к Гансу. Она стояла над ним, долго к нему приглядывалась, спросила, от какого зверя получил рану, и начала качать головой, услышав о клыке кабана. Потом опустилась на колени перевязывать рану, для чего уже имела с собой древесный гриб, травы и тряпки.

Тем временем ксендз Жегота доставал из корзины принесённые запасы, а Отгон, увидев кувшинчик, не дожидаясь других, почти вырвал его из руки и жадно поднёс к губам.

Герон также требовал еды и напитка; только бедный Ганс, когда ему забинтовывали окровавленную ногу, крикнул от боли и потерял сознание, так что его вином с водой должны были приводить в себя.

– Слава Богу, – вздыхая, сказал Отгон, – ещё не умрём в этой пустыне! Есть люди!

V

Едва ксендз Иво вернулся из своего путешествия в Краков и приехал в епископскую усадьбу, едва имел время, спешившись, поговорить с собравшимися на его приём духовными лицами, когда уже в замке о нём знали, и от князя Лешека бежал каморник с приветствием, который одновременно нёс просьбу, чтобы епископ как можно скорее навестил тоскующего по нему пана.

Валигура, которого Иво привёз с собой, по мере того как приближались к столице, навевавшей какие-то старые немилые воспоминания, грустнел и казался всё более молчаливым и понурым. Даже мягкие и добрые слова брата не могли его вырвать из этой тяжкой задумчивости. Когда въезжали в город, епископ сам начал молиться и то же рекомендовал брату.

– Помолимся, – сказал он, – молитва – это великое оружие и эффективное лекарство...

Мишшуй тоже начал шептать молитвы... Но невольно этот город, раньше хорошо ему знакомый, неожиданно, спустя столько лет притягивал к себе глаза.

Вырос, изменился, широко разложился, дома похорошели, прибавилось костёлов...

Ксендз Иво бросил отцовский взгляд на деревянный костельчик Св. Троицы, при котором на Рождество Богородицы поселил доминиканцев, он стоял на рынке. Глаза его увлажнились и он думал:

– Дал бы Бог ещё немного жизни, прибавится святых, прибудет людей, увеличится сила духовенства... на славу Господу!

Мишшуй вместе с епископом, не давая узнать, кем был, и заняв скромное место в кортеже, прибыл в усадьбу, где по данному знаку ксендза Иво его сразу поместили в отдельных комнатах. В этот день он уже не показался.

Епископ не мог направиться в замок, потому что и час был поздний, и дома много оставалось работы после нескольких дней отсутствия...

Посланцы чуть ли не от всех епископов со всей Польши ждали его писем; также ждали послы с важными делами.

Если бы присматривался к этим духовным, которые спешили на приветствие брата, Валигура очень бы огорчился, потому что численность ксендзов и монахов чужеземцев почти преобладала. Чёрные, серые, белые, коричневые рясы всяких орденов, разных стран тиснулись к любимому пастырю, который, как мог, увеличивал отряд этого Христова войска.

Слышались тут все языки, начиная от латинского, который был повсеместным, до итальянского, французского и немецкого, потому что много наплыло монахов из разных стран. Сам же епископ Иво, который в молодости закончил учёбу в Париже вместе с будущим папой Григорием IX, а потом много раз ездил в Италию, говорил на этих языках так же хорошо, как на своём. Ему был дан тот дар Святого Духа, что учил их с лёгкостью и не давал забывать никогда. Не имел также той исключительной любви к своим, какой славился Валигура, а лишь бы человек был набожный, не смотрел он какого рода.

Глаза ревностного священника с великой любовью обратились на запад и юг, потому что там расцветала эта духовная жизнь, которая знаменовала тот век. Там лилась огненная река, которой тут едва текли маленькие струйки.

Одновременно двух великих апостолов выдали тогда южные страны, Испания – св. Доминика, Италия – св. Франциска, того любителя бедности, который прошёл через жизнь в опьянении, в экстазе, в небесном сне, с песней на устах, весь в Боге, с чудесными ранами, с видениями архангелов, окружённый бедностью, разговаривая с птицами, опекая овец, целуя прокажённых. Тысячи людей бросало по его примеру оружие, шёлк, удовольствия, богатства, власть и силу, чтобы кричать, вторя ему:

*«O beata solitudo
Sola beatitudo!..»*

Когда Франциск ушёл в пустыню, Доминик с огненным словом, пёс Божий с факелом в руке, бежал среди неверных, жаждущий мученичества. Два этих человека, что взаимно дополняли друг друга, встретились в одном объёме по дороге к небесам.

Прежние ордена съели, как ржа, богатство и распутство, дети Франциска хотели ничего не иметь, кроме выпрошенного хлеба, дети Доминика ходили в власянице и были жестокими к самим себе.

Уже двоих своих племянников Иво отдал Доминику, ему было мало цистерцианцев, пре-монстратов, старых орденов, которые уже были на его земле, желал новых борцов, превыше всего требовал, чтобы ему принесли искру того огня благодати Божьей, который горел за горами!

Ему было нужно воспитать будущие поколения в детей тех отцов, для которых земля была только дорогой к небесам.

Действительно, христианская вера буйно распространялась и почти все светские власти были ревностными сынами церкви; говоря по правде, Генрих Бородатый с супругой жили почти монастырской жизнью, она – с монахинями, он – в костёле, Тонконогий сыпал щедрою дланью духовенству, Плвач дарил широкие пространства земли и ещё более широкие права, от которых ради него отказался, Конрад, брат Лешека, стягивал немецких рыцарей-монахов – этого всего, однако, достаточно не было. Не раз те же такие святые и набожные князья своим сопротивлением епископам вынуждали их аж на анафему.

Молитва не защищала от желания единоличного правления, от отвращения к разделению власти – поэтому духовенство, что хотело править правящими, не могло остановиться в увеличении своих сил.

Ордена и священники были бойцами... Рассаживали их густо, чтобы этой сетью опоясать все земли и, что было разорвано светскими правами, объединить Божьим законом.

В эти минуты борьба духовенства с земными силами у нас, казалось, решалась в пользу первого. Рим стоял над коронами и скипетрами, распорядился ими и там, куда не достигала императорская власть, он был властелином, которого почти никто не смел отрицать.

Из правищих на польских землях только тот был уверен, то удержится, с кем было духовенство.

Со времён Болеслава Щедрого росла мощь епископов, сосредотачивающаяся в одну силу под метрополичьей властью архиепископа Гнзненского. А всё-таки были ещё такие, что ей сопротивлялись, что переносили анафемы и жили с ними, и находились священники, которые им, несмотря на анафему, служили мессу... и костёлов не закрывали.

Поэтому ожесточённую борьбу со светской властью нужно было вести дальше... а внимательное духовенство, помимо собственных солдат, имело за собой почти всех могущественных и рыцарство, в защиту которого вставало.

Краковские епископы были страшны князьям, защищая права рыцарства и стоя за его свободы. Мешко Старый из-за них никогда не мог удержаться в Кракове, который четыре раза мог получить; из-за них правил Казимир Справедливый, духовенство вынесло и поддержало Лешека.

История этих дней – один фрагмент церковного боя, который почти бессознательно вырабатывает свободы общества и пробуждает любовь к ним неустанным бодрствованием над властью князей – чтобы она не увеличивалась...

В помощь тем усилиям приходит дух века, который велит всё земное презирать и пренебрегать им. По примеру святых аскетов дворы князей становятся монастырями, княгини надевают власяницы, князья клянутся в чистоте и отказываются от потомства ради наследования

неба. Княжеские дочери вместо того чтобы выходить замуж за королей, выходят за небесного Жениха... Все сокровища идут на золочение алтаря на обоготвление святынь...

В этом экстазе тысяч людей, презирающих землю, идущих в власяницах, с бичеванием, голодом, штурмом на небо, есть что-то такое великое и великолепное, такое поэтично красивое, что самый холодный человек не может на него смотреть равнодушно.

Эта горячка охватывает толпы, маленьких костёлов для размещения набожных не хватает, амвоны стоят, припёртые к стенам, чтобы тысячи могли слышать Божьи слова. Как недавно двенадцатилетние мальчики рвались с оружием на неприятеля, овеванные рыцарским духом, так теперь дети преобразуются в аскетов.

Пыл всеобщий, заразительный и захватывающий.

Иво тянет за собой всю семью, во власяницы одевает своих племянников, огромные волости отдаёт монастырям, – удивляет своей королевской щедростью, в которой не знает меры...

На мгновение блеск этой апостольской жизни затмевает даже митрополичью столицу и Гнезно гаснет при Кракове.

Там объединяются все усилия и планы, оттуда плывут приказы; там стоит настоящий вождь всего движения.

Когда Мшщуй, закрытый в комнате, которую для него приготовили, мучается переменной, какая произошла в его жизни, и бунтует духом против брата, который словом сумел его победить и приказом увести за собой, епископ Иво, окружённый своими солдатами, неутомимый, деятельный, занимается оставшимися делами, пока последний час не вынудит его идти на отдых, чтобы мог совершить завтрашнюю мессу.

В панском замке ожидали его напрасно допоздна, Иво обещал быть в Вавеле с мессой, на завтра...

Тут правит видимый мир и хорошее настроение... Лешек радуется сыну, почти все его враги повержены, Генрих Силезский идёт с ним, Конрад в нём нуждается, Тонконогий ему послушен, один Одонич – смутьян, один Святополк Поморский – непослушный, его помощник, возмущаются, бессильные, напрасно. Тех уже не оружием, но одним страхом легко будет усмирить.

Так думает Лешек и уверен, что всё духовенство придёт ему на помощь, чтобы упрямых вынудить к послушанию.

После святой мессы в Вавеле, которую епископ отслужил сам, король, королева и многочисленный двор, наполняющий святыню, пошли к замковым строениям. Кто бы присмотрелся к ним издали, и не знал особ, легко бы мог ошибиться, ища глазами пана; все исчезали, даже тот, что им звался, при важном, занимающем первое место пастыре. Окружали его с почтением, приветствовали его с радостью – он был душой этого двора и головой этого княжества.

Лешек, сын Казимира, как отец, имел облик мягкий и весёлый, немного гордый, рыцарский, но на челе его не видно было особенно глубокой мысли и в глазах той смекалки, какую имел отец. Не наследовал также от него той любви к мудрости, той жажды правды и знаний, какими Казимир всю свою жизнь кормился. На ясном лице не было заботы, но желание покоя, много доброты и мягкости, как бы нужда в опеке и сильном плече. Глаза не видели далеко, ум не хотел достигать тёмных глубин. Лешек нуждался в тишине, согласии и маленьких рыцарских развлечениях, к которым привык с детства.

Победитель Руси под Завихостом имел рыцарскую осанку и был до забвения храбрым, но раздора не вызывал, но всегда желал примирения. Светловолосый, голубоглазый, с гладким румяным лицом, цветущим здоровьем, казалось, он не чувствует бремени царствования и старается сбросить его с плеч.

Он хотел быть со всеми в согласии, объединять и смягчать, чтобы ему жизнь не обременяла. Поэтому он охотно уступил Краков Тонконогую, охотно дал отряд брату, примирился с силезцами и теперь льстил себе, что Плвача и Святополка вынудит к переговорам и миру.

За брата в Мазовии он вполне был спокоен – улыбалось ему то будущее, которое пророческое око епископа Иво видело хмурым и грозным, потому что он лучше знал людей.

Рядом с красивым Лешekom, который немного склонившись шёл при епископе, как дитя рядом с отцом, улыбаясь ему, следовала наряженная и прелестная жена его, Гжимислава, на женском челе которой отражались покой и весёлость мужа.

На лицах двора Лешeka, хоть видно было желание вторить пану, некоторые из них, особенно старшие, были мрачными, отречёнными, задумчивыми.

И епископ также в этот день после вечерних и утренних разговоров с духовными лицами с какой-то заботой вошёл в замок. В глубоком волнении совершил он святую мессу; казалось, что его поражает эта неосторожная весёлость; но в первые минуты отравить её не хотел...

Едва войдя в замковый двор, Лешек после нескольких вопросов, брошенных епископу, изменил тему разговора, и начал рассказывать о прекрасном времени для охоты, к которой готовился.

– Если бы я не ждал вас, отец мой, – сказал он, оборачиваясь к нему, – уже бы двинулся в лес, но хотел поцеловать вашу руку, а Краков и дела, которые вы лучше, чем я, понимаете, оставить под вашей опекой.

– Охота – прекрасная и милая забава, – ответил епископ, – но, милостивый пане, на ваших плечах лежит много, множество бедных на вас глядит. Я думаю, что, когда столько дел обременяет, снова Colloquium нужно созвать, или в Краковском, или в Сандомирском...

– В Colloquium замените меня комесами и переднейшим рыцарством, – сказал Лешек, – мой придворный судья, подсудок, канцлер... Я, пожалуй, там только на то нужен, чтобы занять почётное место. А есть ли такие срочные дела?

– Всегда найдутся, лишь бы собрание было созвано, – ответил епископ.

Лешек вздохнул.

– Потому что люди, – добавил он, – никогда спокойно жить не могут.

– Это люди! – вздохнул епископ.

– Думать о делах! – добросил князь. – Думать о делах в то время, когда такая милая осень в лес зовёт; когда летняя жара прошла, а зима далеко ещё. Правда, отец мой, правление в то же время – неволя и, как говорят, чем выше кто сидит, тем больше трудится.

У замковых дверей княгиня очаровательной улыбкой попрощалась с епископом, спешила к своему Больку, которому оба так радовались, как первенцу и единственному ребёнку.

– Увидишь ребёнка и благословишь, отец наш, – сказал князь, – растёт на глазах, а такой умный, что все недоумевают.

– Пусть растёт на нашу радость, – ответил епископ, немного отвлечённый.

Лешек, постоянно весело спрашивая, провожал ксендза Иво в большую гостевую комнату, когда тот задержался на пороге и шепнул:

– Милостивый князь, я хочу с вами, канцлером Миколаем и Марком Воеводой немного лично поговорить, нам лучше будет в вашей комнате, чем тут, где к нам легко кто-нибудь может зайти.

Многочисленный двор как раз наплывал в комнату, облик Лешeka омрачился, видно было, что этот личный разговор беспокоил его, мучил покой, так, что, пожалуй, рад был бы его отложить, – но когда Иво что-нибудь говорил, сопротивляться было трудно.

Тут же за ними шли те, которых он позвал: старый Миколай Репчол, канцлер, в чёрной духовной одежде, с бледным лицом, изборождённым большими морщинами, муж внешне сильного телосложения, но вынужденный опираться на палку. Лицо его, быть может, результатом внутренних страданий, ещё больше выражало заботы и задумчивости, чем лицо епископа. Иво также, вероятно, верил больше в будущее, чем он. Другим был Марек Воевода, муж также уже преклонного возраста, но рыцарской фигуры, беспокойные глаза которого, привыкшие к бдению, бегали, изучая одновременно лица епископа и Лешeka. Из них двоих он большее и

более пристальное внимание, казалось, обращает на пастыря. Там все так же ему подчинялись, как сам князь.

Лешек также сразу вынудил себя принять мягкое выражение и с поспешностью повернул к своей каморке, которую по панскому знаку открыли стоящие у дверей слуги. Было это самое милое схоронение пана, комната, в которой он принимал только желанных и близких гостей. По ней каждый мог легко узнать натуру и характер князя. Стен почти в ней видно не было – так были завешаны всем разнообразием охотничьего и боевого оружия, которое любил Лешек.

Был в этом некоторый порядок и видимое увлечение... Шеренгой стояли более лёгкие и более тяжёлые доспехи, восточные и итальянские, немецкие и старинные, состоящие из блях и нашитой чешуи. Рядами стояли шлемы от старинных тяжёлых и менее аккуратных, до тех, которые теперь украшали рогами, крыльями и фигурами зверей, позолоченные и разрисованные.

Рыцарские пояса светились дорогими камнями и эмалью, висели при них мечи, мечики, пугиналы, охотничьи ножи; далее – кованые копья, влочки, боевые секиры, палицы с привязанными на цепях ядрами, щетинящиеся острыми стрелами, луки, колчаны, щиты... Одно пространство полностью светилось большими и поменьше щитами с изображениями львов, орлов, грифов, а посерединке на одном был искусно вырезан и разукрашен рыцарь, скачущий на коне, который поражает копьём медведя, бросающегося на него. То же изображение, как на этом щите, хотел Лешек иметь на своей княжеской печати.

Весь пол панской комнаты был толстым слоем устлан шкурами животных, убитых рукой государя.

Хвалился он тем, что две комнаты застелил этой охотничьей добычей, среди которой лежал и памятный медведь, что уже схватил было лапами коня Лешека, когда тот ему нанёс смертельный удар...

Эта комната, сказать правду, была наиболее милой князю, но для серьёзного совещания очень опасной; епископ знал об этом по опыту, потому что, сколько бы раз тут не проходили заседания, Лешек их всегда прерывал, говоря о своих доспехах, оружии и охотничьих деяниях. Как охотник, как рыцарь, он любил о том рассказывать, а самыми приятными ему были те, что слушали его охотно и восхищались его ловкостью, которой, впрочем, никто не мог отрицать.

Указав ксендзу место на устланном кресле, сам князь стал напротив него, а за ним, опираясь на свою трость, стояли канцлер и отошедший в сторону Воевода.

Лицо Лешека снова, словно умоляя епископа о милости, улыбалось ему, из Иво смех вызвать не в состоянии. Видно было, что князь, ничего слишком важного в разговоре не ожидая, хотел от него быстро отделаться. Поглядев на епископа, который размышлял, думая, с чего начнёт, Лешек тоже нахмурился.

– Мне очень не везёт с тем, – отозвался Иво, – что почти всегда предназначен быть для вашей милости птицей, пророчащей плохое...

– Напротив, – отпарировал Лешек живо, – вы для меня лучший опекун и отец.

– Но из любви и заботы о вас всегда приношу плохие новости.

– Плохие ли? Отец мой? – спросил князь, складывая руки.

– Всякая жизнь трудна, а вы сами сказали, – отозвался епископ, – тем более у тех, кто сидит выше.

– Значит, помогите мне от этого зла... – живо сказал Лешек. – Помогите его избежать. Но вы, отец мой дорогой, – добавил он, – с этой вашей отцовской нежностью ко мне, часто, может, больше видите плохого, нежели есть. Я рад бы и во зло, и в злых, что его делают, не верить.

– Всё же, милостивый пане, – вздохнул Иво, – Бог допускает зло, чтобы было критерием доброго...

Наступила минута молчания.

– Сами будучи добрым, – доложил Иво, – вы не хотите, милостивый пане, верить в людскую превратность.

– Но о ком вы говорите? – торопя, чтобы быстрее освободиться, воскликнул князь.

– Начнём с Одонича, – отозвался епископ, – из плохих этот, по-видимому, самый худший, если не нужно ещё первенства перед ним дать его шурина, Святополку. Одонич, жадный до царствования, как дед его, Мешко, имеет его желания и железное упрямство, и его пример перед собой, но стократ более виновен Святополк, который, милостью вашей и вашего отца назначенный великорадцей Поморья, хочет его незаконно и неблагодарно захватить и оторвать.

– Ах! – воскликнул Лешек. – Святополк имеет в себе буйную кровь Яков – это правда, но кто же знает, Одонич ли его, или он Одонича подстрекает и хитрит. Они оба не кажутся мне опасными.

– Милостивый пане, – прервал грубым, понурым голосом канцлер Миколай, – я боюсь, как бы к этим двоим ещё кого-нибудь третьего не пришлось присоединить в реестр твоих неприятелей.

Лешек повернулся к нему, нахмурившись, с упреком на лице, почти с угрозой, к которой он не привык. Канцлер склонил голову и замолк.

– И я бы был того мнения, что Святополк с Одоничем не имели бы отваги, – прибавил епископ, – если бы они не глядели на кого-то, чьего имени выговорить даже уста содрогаются.

Лешек весь вздрогнул, поднял голову, возмущённый, и, казалось, на мгновение даже забыл о должном епископу уважении.

– Отец! – воскликнул он. – Вы разрываете мне сердце!

И разрываете его напрасно. Я догадался, кого вы мне как неприятеля хотите указать. Но нет! Нет! Не хочу этому верить, не верю, и если бы я ошибался, если бы должен был пасть жертвой ошибки, предпочитаю умереть, чем подозревать... брата. Мы дети одной матери.

– Вы разные, как Авель и Каин, – отозвался Иво с великой силой. – Вспомните, князь, молодость! Вы были когда-нибудь похожи друг на друга? Вы – любовь, тот – строгость; вы – доброта, он – жестокость, вы – равнодушный к власти, он – жадный до неё.

Лешек слушал с опущенной головой, хмурый, но не убеждённый.

– Конрад не такой плохой, как вы опасаетесь, – сказал он. – Он горячее, чем я, Бог ему дал больше силы, также больше желаний, но в его сердце...

Говоря это, он бросил взгляд на собравшихся, все удивительно недоверчиво, почти с жалостью, слушали. Лешек остановился на мгновение и закончил:

– Конрада мы оставим в покое.

Марек вздохнул, Иво поглядел на канцлера – замолчали.

– У меня плохие доказательства, – сказал после долгой паузы епископ, – нужно бдительно, по крайней мере, знать, наблюдать, чтобы нас опасность не схватила врасплох.

– Одонич, – прервал вдруг Лешек, – сражался с Тонконогим больше, чем со мной, всё кончится, когда их разделим, и помирим.

– А есть ли способ примирения их, когда один всё хочет иметь и вырвать у другого? – спросил епископ.

– Вспомните, – отозвался Лешек мягко, – тот поход Генриха Вроцлавского на меня, когда он также хотел отобрать у меня Краков, хотел вырвать, и с войском стоял на Длубне.

Уже должна была пролиться кровь, всё-таки набожный, святой мой Генрих, услышал советы, дал успокоить себя, вы предотвратили эту бурю... и обнялись, как братья, вместо того чтобы воевать, как враги.

– Вы сказали, – отпарировал епископ, – Генрих был святым и набожным, потому услышал слова примирения, а Плавач им не является... а Святополк – предатель, знает, что согласия с ним быть не может!!

Услышав это, Лешек нахмурился и губы его сжались.

– Значит, советуйте, – воскликнул он с каким-то отчаянием, – я слепой и неумелый, советуйте!

– Вы не слепой и способный, – прервал епископ, поднимая для объятий руки, – но добрый до избытка, а зная эту доброту, враги пользуются!

Разговор снова прервался, все поглядывали на Лешека, который, несмотря на мягкость, не уступал в своих убеждениях.

– Советуйте, – сказал князь медленно с какой-то нежностью, – я вам только одно припомню: что вот, благодаря Божьей опеке, я с моей слепотой и неспособностью, когда уже был лишён наследства Тонконогим, – царствую, когда должен был быть изгнан Генрихом, – сижу в моей столице. Ребёнком покойный дядя столько раз меня выгонял, Провидение мне возвращало то, что он отбирал; и вот в мире и благоденствии распоряжаюсь и правлю. Этому Провидению так доверяю, что если бы был окружён врагами, не испугаюсь, – и в спокойствии буду ожидать свою судьбу.

– Ежели так, – проговорил медленно Иво, вставая, – что же мы должны делать? Я этой веры в безопасность не разделяю, хотя Провидению верю... Мы за вами присматривать должны!

Лешек, как бы избавился от бремени, быстро приблизился к епископопу и поцеловал его руку.

– Советуйте, – сказал он, – делайте, что считаете верным, я подчинюсь вашему святому совету...

В эти минуты он обратился к Мареку Воеводе.

– Милый мой, эти тяжёлые щиты, слишком обременяющие наших солдат, пора бы убрать. Не знаю, показывал ли я вам немецкие новые, как они предивно легки.

Говоря это, князь повернулся к ряду висящих на стене щитов. Марек Воевода пожал плечами.

Епископ встал со стула.

– Разговаривайте об оружии – я же должен к моим делам...

Князь поспешил с ним попрощаться, и с радостью, что избавился от тяжкого спора, с большой любезностью проводил Иво прямо до порога двора. Там, получив благословение и видя, что Марек Воеводу тот уводил от щитов, повернулся, возвращаясь к молодому Пакошу, своему любимцу, кивнув ему, чтобы шёл с ним в арсенал. Но там затем начались оживлённые прения о новом оружии и об охоте. – Святой человек – наш епископ Иво, – сказал он Пакошу, – но в рыцарских делах совсем не понимает... и с ним ни о чём нельзя поговорить, пожалуй, только о таких святых, как он, и о тех, которых он хочет обратить, чтобы также святыми были. Я люблю его, как отца, но он грустный, как ночь, и с собой всегда приносит мне какую-то горечь. Пакош подтвердил головой то, что говорил пан, не смея словами. И они начали беседовать о лёгких щитах.

VI

Спустя несколько дней по Кракову разошлась новость, которая на дворе Лешека, разделённом на два лагеря, произвела сильное впечатление.

Рассказывали о том, как епископ своего брата, давно забытого, который много лет сидел на деревне и отказался от света, силой вырвал из пустыни и привёз в Краков, наказывая ему тут со значительным двором стать на страже при нём. Знали старого Валигуру только по повестьям, какие о нём ходили в те времена, когда ему дали это его прозвище. Знали, что пан был могущественный, что немцев презирал, силу имел огромную, а волю железную.

Поэтому все заключали, что снова грозила вспыхнуть угасшая на время война между Яксами и Одроважами, коль епископу было необходимо привлечь этого помощника. Вражда двух этих могущественных родов была уже стара и не с сегодняшнего дня началась.

Яксы претендовали на большие права, принадлежащие своей крови и роду, ведя происхождение от каких-то князей и восходя аж к Пепелкам... и древним Лешкам. Нередко их можно было слышать утверждающими то, что, прежде чем править начали Пясты, они уже держали власть в руках.

Одроважи, хоть такие же старые в сандомирской земле, как она, хоть владеющие многими именьями, не вели себя с такой высоты. Но они как раз росли, когда Яксы уменьшались. Один только старый Мшщуй добился великорядов в Поморье, которые потом выпросил для сына Святополка, а другой родственник его, Марек, был воеводой Краковским.

Остальные опирались на них двоих.

Иво Одроваж, у которого было пророческое око, с недоверием смотрел на род, жаждущий царствования и предьявляющий какие-то к нему права. Яксы взаимно чувствовали в нём неприятеля, стоящего у них на пути.

Сын Марека Воеводы однажды был отправлен совместно с другими Яксами и Одроважами на охрану прусской границы.

Шли с ним Дзежек и Будислав, родственники епископа. По наговору Яна Яксы, который хотел выдать на смерть ненавистных ему Одроважей, они сбежали с частью войска и были причиной, что Дзежек, сын Абрахама, и Будислав Изяславов, схваченные язычниками вместе со многими другими, жизнью заплатили за это предательство.

Тогда епископ Иво, мстя за свою пролитую кровь, добился от Лешека, что виновных, Яна с товарищами, позорно выбросили из имений и должностей. Марек, воевода Краковский, мстя за сына и родственников, устроил тогда в Вроцлаве с Генрихом Бородатым заговор и вынудил его пойти на Краков и на Лешека.

Оказавшийся под угрозой князь вызвал на помощь брата, войска обеих сторон встретились под Длубной, но набожного Генриха духовенство, а во главе его Иво, вынудило к миру.

Силезиц припомнил совет жены, чтобы чужого не желать, наступило торжественное примирение и праздники.

Всегда мягкий и великодушный, Лешек простил Марка Воеводу, другим Яксам оказали снисходительность – наступило перемирие, или, скорее, они приостановили действия.

Но Иво не чувствовал себя от них в безопасности и они ему не доверяли. Огонь тлел под углями.

Внешнее согласие скрывало тайные приготовления. Марек Воевода служил Лешеку, перед всевластным епископом склонял голову, говорил, что прошлых обид не помнил, но в душе родственному Святополку желал добра, а кто знает, какие перемены готовил в будущем. Подозревать его было трудно, доверять ему опасно.

Под самым боком епископа имел Воевода сына-каноника, магистра Анджея. Тому уже заранее предназначили краковскую митру, и хоть учёный и набожный муж не рад был, может,

выступать против своего пастыря, хоть был для него покорным, не мог забыть о своих и сопротивляться влиянию отца и брата.

Воевода Марек, как мы видели, был вызван на совет, Иво при нём открыто говорил о Святополке, за которого он заступаться не думал, – но что делалось в сердце, один Бог знал, и епископ догадывался.

Следовательно, он должен был быть бдительным, ежели не для себя, то для пана своего, которому угрожала скрытая неприязнь и лживая привязанность.

Появление Валигуры в Кракове обеспокоило Яков.

Знали, что бдительный и умный епископ напрасно ничего не делал и, должно быть, нуждался в брате, коли его сюда привёл. Также опасались, как бы ему не доверили какой-нибудь значительной должности при князе, через которую влияние Одроважей ещё возросло бы.

Но было не слышно, чтобы Валигура появился на панском дворе, заметили только, что стягивал людей, собирал челядь и хорошо тут расположился. В этот день после утреннего совещания, которое окончилось ничем, после короткой беседы с епископом, Марек Воевода, насупленный и беспокойный, вернулся в свой дом – недалеко от замка.

Вавель, в котором жил князь, дом епископа за ним, наконец воеводинский, представляли в то время три очага, три силы, от которых зависели судьбы страны. В княжеском замке боролись друг с другом два влияния: епископа, который был помощью и духовным отцом Лешека, и Марек Воеводы, несмело, но ловко старающегося перечеркнуть замыслы набожного епископа. Сколько бы раз Иво решительно не требовал чего-нибудь, Воевода поддавался, не выступал против него открыто, тайно почти всегда идя в противоположном направлении.

После того как получил прощение за побег во Вроцлав и переход на сторону Генриха, Воевода должен был быть осторожным. С Лешек шло ему легко, потому что тот хотел забыть обиды и охотно доверял, но епископа должен был остерегаться.

Едва прибыв домой, двор и изба которого всегда полны были рыцарства и наёмных солдат, шума и ропота, Воевода послал за сыном, магистром Анджеем, живущим при епископе; сам же вышел к придворным, ожидающим его, стараясь скрыть заботу, поддельывая весёлость и хорошее настроение.

Двор Воеводы был почти таким же многочисленным, как княжеский, и на его манер составленный. Охмистр, каморники, канцлер, два капеллана, конюший, подचाший, казначей, мелкая молодёжь для рыцарских услуг никогда не отходили от старого гетмана. За малым исключением, была это кучка, составленная либо из Яков, Яксыцов, их родственников, либо из друзей рода.

В надежде когда-нибудь посадить на епископскую кафедру сына, Марек посылал его за границу учиться, сделал его капелланом, постарался для него о Краковской канонии, – и ждал наследства Иво.

Но он не совсем был рад за своего сына. Анджей принял к сердцу призыв, но, обучаясь с благочестивым Иво, проникся к нему великим почтением и неохотно давал отцу использовать его как инструмент своих планов.

Магистр Анджей был послушен родительской воле, как подобало богобоязненному ребёнку, всегда готов был на защиту семьи, но – неохотно принимался за тайные услуги и что-то делал против пастыря.

Был это человек ещё молодой, фигуры, которая больше бы пристала рыцарю, чем ксендзу, но лицо его, на котором почти никогда не появлялась улыбка, забирало смелость и пробуждало даже в отце беспокойство. Казалось, быстрыми глазами он проникает внутрь человека, читает в душе, а нахмуренные брови и гордые уста говорили, что того, чего вычитает, не простит.

Скорее, чем ожидал Воевода, магистр Анджей, которого посланец встретил на дороге, появился во доме, приветствуемый с большим почтением. Отец ждал его в своей спальняй комнате, потому что хотел поговорить один на один.

Сын застал его глядящим огромного старого пса-любимца, который уже ни к чему не годился, потому что потерял нюх и слух, но Марек держал его как отслужившего.

При виде сына Воевода встал, а такое было уважение к духовным лицам, что принял его, словно чужого, и в руку не дал себя поцеловать.

Посадил его сразу при себе, спрашивая, не хочет ли он пить или есть. Магистр Анджей отговорился постом. Отец сделал весёлую физиономию. Только слишком поспешным вопросом выдал свою заботу.

– Епископ вернулся! – вырвалось у него.

Сын быстро поглядел на него, опустил глаза...

– Да, – ответил он кротко.

– Не знаю, где он бывал, – сказал через мгновение Воевода, – но снова привёз полные рукава страха, чтобы князю не дать никогда покоя.

– Ничего не знаю, – отозвался сын равнодушно.

– Что же, скрывает от тебя? Не доверяет? – добавил шибко Марек. – Можно этого ожидать. Одроваж всегда Одроважем, когда Яксу Гриф увидит перед собой! Ни мы их, ни они нас забыть не могут.

– О светских делах мы никогда не говорим, – ответил сын, – а в делах костёла епископ Иво для меня милостивый отец и жаловаться на него не могу.

– Ты всегда всему рад, – начал живо Воевода. – Но именно то, что о светских делах с тобой не говорит, доказывает, что нам и тебе не доверяет.

– Я не хочу в них вмешиваться, – сказал Анджей по-прежнему спокойно.

– А всё-таки ты должен, – решительно и с натиском подхватил Марек. – Всем известно, что ты должен когда-нибудь заменить епископа Иво в этой столице. Смотри же, пренебрегает ли он светскими делами? Заранее нужно к ним готовиться.

– Милый отец, – промямлил, опуская глаза, Анджей, – это совсем ещё неизвестно, кому Бог предназначил заменить епископа. Я не чувствую себя достойным этого, а краковский капитул будет выбирать сам и не даст навязать пастыря.

Воевода усмехнулся.

– С капитулом мы сумеем договориться, – сказал он тихо.

Румянец какого-то стыда выступил на лице магистра Анджея, но из уважения к отцу он сдержался от ответа.

– Епископ притащил с собой брата, – сказал Марек, меняя тему разговора. – Я знал его когда-то, он был вспыльчивым, великим силачом... но бунтовал всегда. Мира с ним никто не имел, осел где-то на силезской границе и долго его тут слышно не было, зачем же теперь его вызвали?

– Не знаю! – ответил Анджей.

Марек содрогнулся – его брови нахмурились.

– Поговорим открыто, – сказал он, снизив голос и встав перед сыном. – Моя душа чувствует, что нам, Яксам, снова угрожает опасность. Иво мстительный.

Магистр Анджей встал со стула и сложил крестом руки на груди.

– Милый отец, простите; Иво не мстительный!

Это отрицание взволновало Воеводу, который, казалось, хочет вспылить, и сдержался.

– Ты не знаешь его! – пробормотал он.

– Дорогой отец, я каждый день с ним общаюсь, он Христов муж, святой человек... а месть – нехристианская, и запрещена законом.

Воевода посмотрел на сына с сожалением и, отказываясь от спора, замолчал...

– Святополк является нашим родственником, – начал он медленно, – один род, одна кровь. Колит их в глаза то, что он Поморьем владеет, хотели бы его выгнать, поговаривая о предательстве, делают его сообщником Плваца.

– Плвац на его сестре Хелинге женился, – шепнул Анджей.

Весь этот разговор так очевидно надоедал магистру Анджею, который отвечал вынуждено, полусловами, что отец, видя, что не сможет втянуть в него сына, замолк и вдруг спросил:

– Что же этот Валигура здесь замышляет?

– Хотя я рад бы что-нибудь о том поведать, – отозвался Анджей, – не знаю ничего толком. Кажется, что епископ хочет его иметь при себе.

– И использовать для своих намерений! – прервал Воевода. – И, наверное, его при Лешке поместить, чтобы на страже стоял, когда епископ сам не может. Кто же знает, Иво готов ему Краковскую каштеланию дать, или меня откуда-нибудь согнать, чтобы его на моём месте посадить. Мне он не верит!

Анджей взглянул в эти минуты на отца таким взглядом, что старик устыдился и разгневался. Слов ему не хватало.

– Ты же, как стал ксендзем, Ясом быть перестал! – воскликнул он. – Это облачение тебя перевоплотило. Монахом на меня смотришь, а я не хотел, чтобы ты им был.

Анджей встал со стула и пошёл обнимать отца. Суровое его лицо вздрогнуло каким-то чувством.

– Отец, – сказал он, покачивая чёрным облачением, – мы – рыцарство Христово, а так как рыцарь, надевая доспехи, обо всём должен забыть, чтобы в своё оружие вложить душу, и мы, тем паче, из-за наших доспехов должны забывать свет.

– Ты ведь не монах!

– Но у меня те же клятвы и обязанности, – сказал Анджей.

– Прежде чем их принял, ты имел другие для рода и отца, – воскликнул Марек.

– От тех я отказался, когда был пострижен! – вздохнул магистр Анджей.

Выражение отцовского лица свидетельствовало о том, что он не был убеждён, и не рад был всему спору с сыном.

Вздохнул, пошёл к окну, ластящегося пса отпихнул.

– Значит, не о чем говорить с тобой! – прибавил он.

Затем в дверь постучали, оба оглянулись; осторожно её приоткрывая, вошёл муж, годами старше Анджея, похожий на него, а ещё больше на Воеводу, с лицом, изрытым преждевременными морщинами, пылким, суровым, с глазами, которые из-под густых бровей блестели звериным выражением.

Был это тот Ян, называемый в семье Яшком, некогда первая причина борьбы с Одроважами, тот, что выдал их на смерть у прусской границы... наказанный лишением рыцарского пояса и изгнанием. Спрятался он в Чехии, которая тогда почти для всех беглецов из Польши была приютом, а через два года тайно вернулся. Добрый Лешек, хоть знал о том, простив отцу, сына преследовать не хотел. Смотрели сквозь пальцы, что он находился на дворе отца, не делали ему ничего, но и к милостям не возвращали.

В боязне Одроважей Яшка постоянно прятался под плечом отца и за ним.

Эта жизнь опротивела ему, горел, поэтому, сильнейшей ненавистью к епископу, к семье, и постоянно упрекал отца за его покорность. Воевода имел к нему слабость, как к своему первенцу.

При виде входящего Яшка, магистр Анджей встал, чтобы подойти обнять брата, но тот холодно с ним поздоровался головой и почти неохотно приветствовал невнятными словами.

Он обратился к отцу:

– Я не знал об Анджее, – отозвался он, – удивительно, что он захотел нас навестить, так сердцем к Одроважам прильнул.

Он пожал плечами. Задетый Анджей облачился своей духовной серьёзностью, поглядел, не отвечал.

– Не мешает, что пан брат здесь, – прибавил Яшко, – таин от него у нас не должно быть, он не дошёл, может, ещё до того, чтобы своих предал ради чужих.

– Брат! – сурово сказал Анджей.

Отец дал знак Яшку, на который он, казалось, не много обращал внимания.

– Да, – добавил он почти гневно, – кто не с нами, тот против нас.

– Сначала я должен быть с Богом, – ответил, сдерживаясь, магистр Анджей.

Не обращая уже внимания на брата, Яшко довольно резко произнёс:

– Достаточно этой позорной жизни, – воскликнул он. – Я должен скрываться как злодей, надеть мне доспехи не разрешено. Любой негодяй Одроваж может схватить меня как беглеца и выдать. Мне уже эта собачья жизнь опротивела!

Марек его сурово прервал:

– Благодарю Бога, что спас тебя! Чего тебе хочется? Ты с ума сошёл.

Глазами указал ему на второго сына, но Яшко на него вовсе не обращал внимания.

– Я еду отсюда прочь! – сказал он решительно.

– Куда? – спросил отец.

Прежде чем Яшко имел время ответить, магистр Анджей встал, чтобы попрощаться с отцом.

– Уже идёшь? – спросил с ударением Воевода.

– У меня есть мои капелланские часы, – отпарировал холодно Анджей.

Яшко дико усмехнулся, поглядывая на него через плечо.

Ксендзу нетерпелось уйти; он издали поклонился брату, который обернулся, и сделал на нём в воздухе крест.

Когда Анджей ушёл, Воевода с неприязнью и упрёком поглядел на сына.

– Помни, – воскликнул он, указывая на дверь, – этот тебя ещё когда-нибудь должен будет защищать и спасать, когда ты по своему безумию снова попадёшь в какую-нибудь яму.

Яшко на это презрительно встрепенулся.

– Бог даст, что я в нём нуждаться не буду, – сказал он.

– Он хорошо сделал, – прибавил он, – что пошёл отговаривать капелланские молитвы, потому что лучше бы не слышал того, что я должен поведать. Опротивело мне это сидение за печью, сегодня или завтра я двинусь к Одоничу, к Святополку, куда глаза понесут, к первому встречному, который встанет против Лешека.

Воевода выпалил, сжимая кулак:

– Ты какой-то неблагодарный! Пойдёшь за тем, чтобы привлечь на меня новые подозрения, что я предатель! Чтобы мне старую голову сняли или прочь выгнали! Ты!

Яшко ничуть не смешался резким выступлением отца, может, будучи привыкшим к подобным, слушал его почти с пренебрежением.

– Отец, ничего с тобой не будет, всё-таки я вольный как птица, согласно немецкому выражению. Пойду, куда глаза глядят.

– Пойдёшь от меня, из моего дома! – кричал Марек. – Все тут о тебе знают, скажут, что я тебя послал. Сиди, глупец, придёт для тебя время.

– Когда? Вы так крепко посадили Лешека, что он тут вековать будет, а пока Иво и он здесь, для меня места нет.

Лешека мне нужно выбросить вон, или лучше – пусть они возвращают изганников.

Он показал на шею, как бы её резал. Марек ударил его по руке.

– Молчи! – воскликнул он.

Он задумался, сказав это, и встал, точно им вдруг овладела неуверенность. Быстрый Яшко воспользовался этим в мгновение ока – и горячо начал:

– Ты, я, мы все, сколько нас есть, пропадём, дожидаясь чего-то лучшего. Кто хочет что иметь, должен делать... Одонич и Святополк делают, а мы ждём, и дождёмся, что нас обезглавят... Нужно всех насадить на Лешека.

– Тонконогий не пойдёт, достаточно ему дел с Одоничем, – отозвался тихо старик.

– А Конрад? – подхватил, хитро смеясь, Яшко. – Вы думаете, что тот не хотел бы, чтобы ему Лешека упразднили? Эх! Эх! Не бросится, может, на него, но и за него не заступится... А Генрих тот набожный...

– Оставь меня с ним в покое! Оставь в покое! – прервал Марек. – Тот жену слушает, а жена ему скорей власяницу даст одеть, чем корону. Я раз ему доверился и этого достаточно... Это баба...

– Обойдёмся без него, – шепнул искуситель Яшко, видя, что отец поддался его настояниям.

– Пойдёт с Лешekom, – добавил отец.

– Не страшен он и его силезцы, – произнёс Яшко всё живей. – Там в доме имеют, что делать, потому что братья едят друг друга.

Он прервался вдруг и, подходя к отцовскому уху, как бы уже считал дело выигранным, начал быстро сыпать:

– Вы скажете, что я капризный, непослушный, убежал.

Вам ничего не сделают. Я должен идти к Одоничу, к Святополку, я там пригожусь.

– А если тебя сцапают?

– Лихо съедят, – крикнул Яшко. – Одонич в монашеском облачении убежал, я и этого не надену. Любая епанча сойдёт!

Я знаю дороги, знаю проходы. Вы можете мне отказывать – а я один могу что-то сделать отвагой. За голову уже не держусь...

– Яшко, – воскликнул отец нежней, хватая его за плечи, – сидеть бы тебе и ждать.

– Нет, нет! – отпарировал сын. – Идти мне и помочь вам и нам, и себе. Вы воевода? Какой вы воевода? В неволе! В пренебрежении! У какого-то священника под стопой... С этим жить дольше нельзя...

Марек, наполовину убеждённый, задумался. Яшко ковал железо, пока горячо.

– Исчезну так, что не опомнятся, как ускользну, – прибавил он.

– К Плвачу не ходи, – выскользнуло у старика, – к Конраду не смей – у того не хватит смелости за что-нибудь взяться. Святополк – наша кровь, он один...

– Ну, тогда к нему! – ответил Яшко. – К кому-нибудь я вырвался бы отсюда.

Марек обеими руками схватился за голову.

– Ещё мне этой заботы не хватало, – воскликнул он, – как будто их мало было. А теперь, боясь за тебя, ни дня, ни ночи не буду иметь спокойной.

Яшко поцеловал его в руку.

– Спи, старик, сладко, а обо мне не беспокойся. Яшко справится... а как я засну, вы толкнёте...

Он дико смеялся, потирая руки. Неспokoйный Марек вздрогнул. Начали что-то потихоньку шептать, и, сев, разговаривали так, пока каморник не позвал обоих к еде, которую подавали на ужин. Как окончился разговор, знали только они вдвоём, по лицу, однако, можно было догадаться, что пришли к согласию, и старик уже сыну не сопротивлялся. В усадьбе потом никакой разницы от обычных дней не было, ни приготовлений, ни видимого движения, а когда Яшка третьего дня с несколькими людьми исчез, Марек Воевода, казалось, не знает, что исчез, и не спрашивал. Своему охмистру он громко сказал, что поехал на охоту. Так все думали.

Только спустя десяток дней, когда он не возвращался, начали узнавать, спрашивать, беспокоиться, искать, а Марек делал вид, что гневался на сына.

В этот же вечер он встретился в замке с епископом, выходя от князя.

– Я страдаю, немало, – обратился он, вздыхая, к Иво, – сгинул куда-то мой Яшко, вы знаете, что я его из милосердия приютил. Непокойная душа, несчастный человек, не мог вынести праздности, куда-то снова пошёл искать приют.

Епископ быстро взглянул на Марека, но у того было такое страждущее лицо, что подозревать его было трудно.

– Пусть его Бог стережёт, – сказал епископ. – Он плохо сделал, что так сорвался, мы бы у князя добились ему милости и прощения. Досада прошла бы.

– Он всегда был строптивый... – добавил Марек. – Дома с ним тяжело было... не раз доходило и до суровости...

– Было бы плохо, упаси Боже, если бы к Плвачу или к Святополку пристал, – сказал епископ, – разнеслось бы это, и в другой раз уже виновный прощения бы не получил.

– Пусть Бог меня на старые дни убережёт! – вздохнул Марек.

– От души желаю, чтобы милосердный Бог хранил вас от этой боли, – закончил Иво.

Не говорили о том больше, непокойный Воевода вернулся домой. Епископ в этот день призвал к себе магистра Анджея.

– Я слышл от вашего отца, – отозвался он, – что Яшко удалился, неизвестно куда.

Анджей побледнел, смело взглянул епископу в глаза и с выражением, которое не позволяло сомневаться в правдивости его слов, сказал:

– Ничего о том не знаю. Яшко был и есть непокойный, отцу во все времена трудно было его удержать. Наш отец в этом не виноват.

– И я его не думаю обвинять, – отозвался спокойно Иво. – Яшка все мы знали и знаем. Я боюсь, как бы он не попал в руки к бунтовщикам. Его может встретить злой рок.

На суровом лице магистра Анджея показались две слезы, быстро стёртые, он поцеловал руку епископа и удалился, взволнованный.

Епископ ни на завтра, ни в следующие дни, встречаясь с Воеводой, уже не спрашивал его о сыне. Той пронизательностью, какая дана чистым душам, он знал, не нуждаясь в расспросе, что Яшко сбежал к Одоничу, либо на Поморье.

Он не придавал этому слишком большое значение, потому что, хоть Яшко был энергичным и как рыцарь, несмотря на этот умышленный побег с поля боя, имел необычайную отвагу, от него одного ничего не зависело. Он казался маленьким человеком.

В течение этих дней епископ больше всего был занят старым Валигурой. Собирали для него отряд людей, службу, часть которой должны были привлечь с Белой Горы, одевали наёмников, выискивали храбрую челядь.

Иво, если бы даже хотел сброситься на это, было нечего.

Значительных доходов епископства и собственных имений едва хватало ему на множество постоянно основывающихся монастырей и костёлов, которыми восхищались, потому что их одаривал с королевской щедростью.

Цистерцианцы, премонстраты и даже доминиканцы, облачение которых надели племянники, селились на деревнях и землях епископом, предоставленных Иво. Ворчала поначалу семья, видя, что он так разбазаривает свои земли, но Цеслав и Яцек, племянники, уже ни в чём не нуждались, Мшщуй имел достаточно, другие, видя, как Господь Бог в этих руках, набожно расточительных, чудовищно множил земли, умолкли...

Мшщуй, который послушно подчинился брату, перенял его мысли, не колебался также дать собственные деньги на то, что уже считал необходимостью. Это была для него маленькая жертва, потому что сына не имел, а для двух дочек всегда осталось бы достаточно.

Поэтому из сокровищницы в гродке возили не только сукно и одежду, но серебро и золото, накопленное с тех времён, когда при первых Болеславах было его в Польше как дерева.

Люди издали смотрели и смотрели, удивляясь, что Валигура с тем двором и людьми, так по-пански стянутыми, думал делать.

Однажды вечером, когда князь Лешек возвращался с охоты в очень хорошем настроении, а охотился он за Вислой в тех монастырских лесах, которые разрешили использовать отцу Казимиру, Воевода уже встречал его у перевоза через реку, умышленно или случайно, трудно понять.

Он воспользовался тем, что они были одни.

– Хорошо, что ваша милость наслаждались развлечением, которое вам давно принадлежало, – отозвался он. – Достаточно наш благочестивый епископ вашу милость пугает и утомляет, когда дома сидите.

– Делает это, наверное, из любви к нам, – сказал Лешек, который говорить про епископа ничего не давал, – пусть Бог охраняет его здоровье для защиты и благословения этого государства.

– А! Он святой, и при жизни благословенным его называть мало, – отпарировал Воевода, – но, как духовный, привыкший подвергать анализу людские умы, часто напрасным выводом из них наполняет вас страхом...

Лешек улыбнулся.

– И сам также тревожится до избытка, – говорил Воевода. – Думаю, не по иной причине он привёл себе под бок брата, который уже нуждался в отдыхе. Жаль старика...

– Вы говорите о Мшцуе Валигуре? – спросил князь. – Я слышал, что он тут.

– Брат его привёз, не считаясь с его волей, – добавил Воевода.

– Без его воли Валигуру притянуть было бы трудно, – отозвался Лешек, – потому что это железный человек...

– Не тот он уже, что был, – вставил Марек.

Князь поглядел.

– Хорошо, что он есть у епископа, потому что семью любит, а епископ от той ради Христа полностью отрёкся. От Яцка и Цеслава утешения мало, потому что те больше Богу, чем дяде служат. Святая и эта молодёжь!

Князь склонил голову.

Через мгновение он спросил Воеводу:

– Не знаете, что тут Мшцуй думает делать?

– Никто его не видел ещё, – отпарировал Марек.

– И я, – подтвердил князь.

– Что монахом по примеру племянников не станет, – говорил Воевода, – кажется верным, потому что не время... и дочек имеет, что нуждаются в ласке.

– Он тут с дочками? – спросил Лешек.

– Кажется, их тут нет...

Потом Воевода говорил об иных вещах, пытаясь Лешеку обрисовать всё так, как он хотел, чтобы было. Велел ему ничего не бояться, пренебрежительно говорил об Одонице, презрительно о своём родственнике Святополке, с уважением к Конраду.

Вставили что-то о крестоносном рыцарстве, которое Лешек хотел увидеть, прослышав о нём много. Воевода донёс, что как раз двое из них уже поехали в Плоцк, чтобы договориться о службе.

Так разговаривая, доехали они до Вавельского замка, а Марек, заняв Лешека, выскользнул в свою усадьбу.

Назавтра князь спросил епископа о брате Мшцуе, славу силы и мужества которого помнил.

– Он здесь, – ответил Иво, – я вытащил его для того, чтобы он служил вашей милости. Верных слуг в это время слишком много не бывает. Не нужно ему ничего – ни титулов, ни должностей, а можно его будет использовать, где другие не захотят, либо не смогут. Я взял его для помощи вашей милости, для верных услуг.

Князь поблагодарил.

– Бог милостив, – сказал он, – служба у меня будет более лёгкой. Заключим мир и будем им наслаждаться.

Епископ робко поглядел на своего господина и замолчал.

VII

У ксендза Жеготы было милосердное сердце, которое не раз уже в жизни отболело за минутное волнение.

В молодые годы, когда светское духовенство имело больше свободы, а брак не был запрещён, привязался он к какому-то бедному существу, которое оставить теперь не имел силы.

Наступили иные времена – папские легаты во всех странах разглашали приказы отказаться от семейных уз. Костёл хотел иметь солдат, ничем не привязанных к земле.

Из опасения, как бы визит декана или епископа не открыл грустной тайны его жизни, старый пробощ был вынужден переселить свою семью в отдельный домик на городище, и ещё не остыл от страха после отъезда епископа Иво, когда новое событие иным образом пригрозило его покою.

Ночью подъехал к Белой Горе Оттон фон Саледен с двумя ранеными новобранцами...

Нужно было их спасать. Ксендз Жегота не мог сопротивляться искушению милосердия, хотя хорошо знал, что, давая помощь ненавистным немцам, подвергнется гневу своего пана Валигуры. Счастьем, старика дома не было и, согласно всякому вероятно, нескоро, наверное, вернётся.

Ксендз Жегота, как всё тогдашнее духовенство, не только не чувствовал неприязни к иноземцам, но уважал всё, что приходило с запада и несло с собой свет.

Вид этих двух полных жизни, опасно раненых и обречённых на гибель, если кто-нибудь им не поможет, глубоко тронули старого ксендза.

На следующий день, когда, высланный искать лагерь слуга, вернулся, ведя с собой Конрада фон Лансберга, и тот увидел в каком состоянии были два парня, сначала разразился на них великим гневом, потом на товарища, брата Оттона, что позволил это безумство, наконец закричал громким голосом, что, хотя Герон был его племянником, но ни из-за него, ни из-за Ганса не думает задерживаться в дороге и тратить время, когда его ожидали в Плоцке.

Оттон обратил его внимание, что всё-таки так среди дороги двух земляков бросить невозможно, в стране, в которой, безоружные, они могли подвергнуться какой-нибудь опасности или даже умереть от болезни и голода.

– Пусть умирают, коль сами на то пошли, – воскликнул безжалостный Конрад, – вверенное нам орденское дело – превыше всего.

Так это говорилось в первом запале гнева, но когда пришлось исполнить угрозу, – и сам неумолимый Конрад начал колебаться. Везти за собой двух раненых, а особенно Ганса, у которого, несмотря на то, что его рану перевязали, появилась лихорадка и, потеряв сознание, бредил, было невозможно...

Герон, легче раненый, хоть на ногу ступить не мог, с горем пополам был готов влезть на коня, но товарища Ганса по-рыцарски оставить не хотел, и объявил дяде, что разделит его участь.

Ксендз Жегота, который утром сбежал из гродка в сарай посмотреть, что делалось с ранеными, при которых сидела Дzierла, украсив свои волосы цветочками, присутствовал при шумной сцене между Конрадом, Оттоном и Героном.

В последнюю минуту, когда уже должно было дойти до какого-нибудь решительного шага, Конрад фон Лансберг увидел ксендза.

– Но это не может быть, чтобы в стране, которая зовётся христианской, раненому бедняге отказали в приюте! – воскликнул он.

– Вы везде его найдёте, а особенно в монастырях, которые охотно примут больного и будут за ним ухаживать, – сказал ксендз Жегота, – везде, только не тут, у нас.

Он указал на замок на возвышенности.

– Как это! Что это! Язычники его занимают? – воскликнул Конрад.

– Нет, но наш пан не примет никого чужого, никогда, – возразил ксендз. – Такую себе клятву дал. Его даже нет в замке, а без него не решился бы никто.

Конрад на это начал возмущаться.

– Что там замок! Пан! – воскликнул он. – Вы особа духовная, вы никакому пану не подчиняетесь. Ваш господин там же, где и наш, – в Риме! Везите его в свой дом... на него никто не имеет права!

– Мой дом – в гроде, – ответил испуганный ксендз, – а если бы *comes* узнал, что я принял чужого, может, вместе с ним выгнал бы.

– Всё-таки его дома нет...

– Хо! Хо! Есть поджупан! – сказал ксендз Жегота.

Наступило минутное молчание. Конрад, нахмурившись, уже не разговаривая, ни споря, шепнул что-то Оттону, приблизился к племяннику Герону, которому долго что-то говорил на ухо, потом сам сел на коня, а Оттону и слугам дал знать, чтобы сделали то же. Когда всё было готово к отъезду, гордый крестоносец, подбоченясь, подъехал к ксендзу Жеготе.

– Слушай, отец, – сказал он приказывающим тоном, – время у меня дорого, тратить его на споры и болтовню не могу. Оставляю тут этих ранних... на милость Божью... Погибнут – совершат по ним службу наши капелланы! Но вы будете иметь их на совести, делайте с ними что хотите – спасайте, бросайте; это ваше дело. Я вынужден сдать их на вас.

Мудрый крестоносец, говоря это, очень хорошо чувствовал, что ксендз не будет иметь храбрости дать раненым умереть.

Ещё раз два старший обернулся к лежащим в сарае, что-то бормоча, потом Конрад бросил несколько слов Герону, и все быстрой рысью помчались к лагерю, оставляя Герона и Ганса одних под присмотром бабы и ксендза.

На мгновение ксендза Жеготу охватило отчаяние, он заломил руки, воскликнул:

– Милосердный Иисус, помоги! Что я тут предприму?

Он хотел убежать в замок, сделал шаг, и его охватило сострадание – он остановился, вернулся, подошёл к Герону, который сидел в сознании, с перевязанной ногой, не потеряв какой-то юношеской отваги и веры. Дzierла с чрезвычайным прилежанием бдила над Гансом, которого то поила какими-то травами, отваренными в горшках, то что-то ему как ребёнку потихоньку пела и худыми руками делала над ним какие-то знаки.

– Безжалостные люди! Безжалостные! – крикнул ксендз Герону. – Вот вас оставили...

Тяжёлая поступь тевтонских коней стучала, всё больше отдаляясь.

– Ну, а милосердные найдутся, что нас приютят! – произнёс Герон, поглядывая на него. – Всё же бросить нас в этом сарае, открытом для четырёх ветров, было бы жестоким варварством, потому что я, как я, но Ганс тут на неделю, когда его ночной холод охватит, напрасно умрёт...

– Сарай, пожалуй, нужно обеспечить! – шепнул священник. – Так как о замке даже и не думайте. Сделаю что могу.

Герон пожал плечами.

– Отец, – сказал он смело, – я верю, что вы что-нибудь придумаете...

Ксендз Жегота, не говоря ничего, покачивая головой, ходил и всё чаще останавливался над Гансом.

– Дzierла, – сказал он бабе вполголоса, – может он выжить?

Спрошенная сделала мину оракула, поглядела на больного, приложила ему руку ко лбу, показала на грубо перевязанную ногу, распростёрла руки, подняла их вверх, вздохнула.

– В хорошей избе, на удобном постлании, если бы его ночь и день не оставлять, – начала она живо, – почему бы не выжил? Разве из таких ран люди не выходят? А помните Дзюбу, которому внутренности нужно было вкладывать назад в брюхо, всё-таки жив, или Гельбу, что

два раза ногу ломал, или Тырка, у которого кости сбоку вылезали? А этот молодой и милый парень имеет ещё столько жизни. Почему бы не выжил?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.